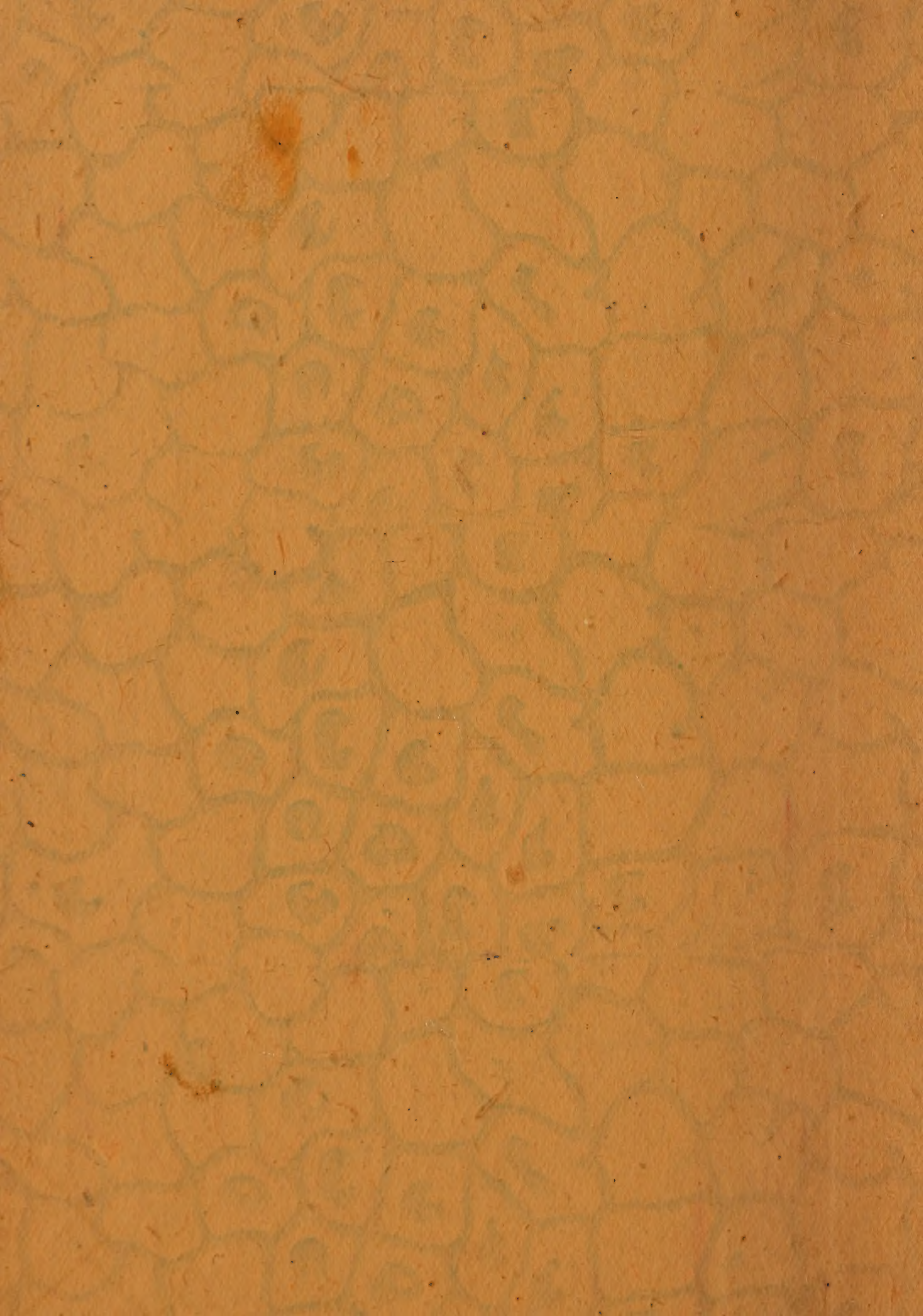

UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 00018433 3
PG
34
S5V5



42574/66

БИОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

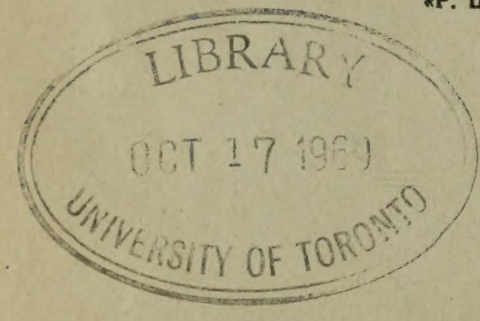
В. В. ВИНОГРАДОВ

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШАХМАТОВ

ПЕТЕРБУРГ
«КОЛОС»
1922

PG
34
S5V5

Настоящее издание отпечатано в Девятой Государственной типографии в количестве 3000 экз.
«Р. Ц.» № 1538.



ПРЕДИСЛОВИЕ.

Общей характеристикой путей творчества А. А. Шахматова ограничивается мой краткий очерк. Если по нему можно составить хоть бледное и грубое (но, надеюсь, не ошибочное) представление о величии научного подвига А. А., моя цель—достигнута. От попытки обрисовать духовный облик А. А., как человека и ученого, в его внутреннем развитии я заранее отказался. Лишь о его научном наследстве говорил я—и главным образом о лингвистических трудах.

Проф. Д. И. Абрамовича я должен поблагодарить за то необычное участие, с которым он предоставил в мое распоряжение имевшиеся у него копии с писем А. А. и ак. И. В. Ягича к А. Ф. Бычкову. Е. А. Масальская любезно разрешила мне ознакомиться с ее записками о детских годах А. А. и с некоторыми из его юношеских писем.

Викт. Виноградов.

1922 г., марта 30.

I.

В истории русской филологии нет главы более яркой и волнующей, чем деятельность Алексея Александровича Шахматова. Биография его—гениального языковеда и исключительно прекрасного человека—неизбежно должна превратиться в повесть о строительстве «молодой еще науки о русском языке». Научный подвиг А. А. состоял не только в неутомимом исследовательском одиноком труде, но и в разносторонней организаторской работе и в самоотверженном служении общим интересам науки. Духовная личность этого ученого являлась тем центром, из которого исходили широкие замыслы коллективных начинаний в области славяно-русской филологии, и в котором находили себе приют и поддержку научные и культурные устремления всех знакомых ему людей. Еще в 1894 году, когда возник вопрос о привлечении А. А. Шахматова в Академию Наук, ак. И. В. Ягич 13—25 апреля писал ак. А. Ф. Бычкову: «На всю Россию вы не найдете более способного по славяно-русской филологии, ни более даровитого, ни более энергичного, ни более трудолюбивого». И с тех пор в течение четверти века, вплоть до безвременной смерти своей,

акад. А. А. Шахматов был признанным вождем русской филологии, который не только с изумительной широтой и талантливостью переносил на необозримое поле русской диалектологии итоги западной лингвистической мысли и методологические достижения своего учителя—Ф. Ф. Фортунатова, но являл собою оригинального мирового лингвиста, основателя научной школы в славяно-русском языкознании, блестящего исследователя русской литературы, русской истории и исторической этнографии восточной Европы.

Вполне понятно, что ныне, когда еще не приведено в полную известность все научное наследство А. А., и еще не собрано достаточного материала для освещения всех сторон его деятельности, не настало время для его биографии. Можно отметить лишь те внешние вехи его жизненного пути, на которые указал сам он в своей «автобиографической записке».

А. А. Шахматов родился 5 июня 1864 г. в Нарве. Рано лишившись родителей, он перешел вместе с сестрами в семью своего дяди — Алексея Алексеевича Шахматова («моих к великому делу побудителей», по словам детского письма Алексея А.). В культурной тиши старой усадьбы, Губаревки, недалеко от Саратова, складывалась и крепла духовная личность А. А. Шахматова.

С 1876 г. начинается упорная и беспрерывная исследовательская деятельность мальчика, который с ранних детских лет увлекался историей русского народа (под влиянием книг — Петрушевского, А. Ф.: «Откуда пошла русская земля» и Карамзина: «История Государства Российского»). В этом году А. А. Шахматов попадает заграницу с дядей и в Мюнхенской и Лейпцигской университетских библиотеках извлекает из сочинений Страбона, Помпония Мэлы, Птоломея материалы для освещения «древнейших судеб русского племени». «Я теперь не буду ссылаться на Карамзина и Соловьева, которые сами ссылаются на Страбона»,—-писал двенадцатилетний мальчик, проникший к первоисточникам, — «я теперь могу собственным трудом достигнуть имени историка, не трудами Карамзина и Соловьева» (письмо от 1876 г. из Лейпцига).

И тогда намечается центр его изучений, к которому он будет подходить в разные эпохи своей жизни с разных сторон и разными путями: «История, начиная со Скифов до самого Рюрика, всем надоела» (исключая меня, потому что я дальше не двигаюсь). (24 дек. 1876 г.). О скифах А. А. Шахматов в том же году пишет сочинение в Лейпцигской Nikolai-Gymnasium, которую он покидает в декабре 1876 г., вернувшись, через Париж, в Россию, в Московскую частную гимназию Крей-

мана. Здесь продолжаются те же напряженные научные искания любознательного мальчика: он мечтает о решении широких проблем методологии истории, критикуя исторические концепции Грановского, Карамзина и Соловьева. И в то же время ему открывается новый путь историко-культурных разысканий, намеки на который он еще раньше усмотрел в книге А. С. Хомякова о родстве славянских языков с санскритом: пред ним рассыпает свои сокровища «милая филология». С страстным одушевлением отдается А. А. собиранию слов — арабских, еврейских, египетских, финских, грузинских, армянских, санскритских, персидских, кельтских, литовских, готских, исландских и других. Параллельно идет изучение соответствующих грамматик и чтение общих лингвистических трудов. Это не было изменой истории культуры. «Филология» рисуется А. А., как основа всех исторических дисциплин и неисчерпаемый источник интеллектуально-морального развития. «Она облагораживает историю, и религию, и литературу», пишет А. А. Шахматов 26 февраля 1879 года. «Филология—это наша жизнь, жизнь древнего нашего предка Ария, жизнь и наша, идеалистов XIX в.». И расширение круга своих филологических познаний А. А. называет своим «моральным развитием», противопоставляя его «гимнастике», «физическому развитию», которое связано с

усвоением учебников школьной премудрости. В 1879 году изменяется обстановка, среди которой происходит «гимнастика»: с этого года А. А. учится в IV московской гимназии. Но «моральное развитие» идет тем же стремительным темпом: мысль А. А. теперь отрывается от почвы русской народности и направляется на изучение отдаленной культуры человечества, которую он стремится постичь через проникновение во внутреннюю форму разноязычных слов. Юный лингвист продолжает свои разыскания «по части органов звуков», начало которым им было положено еще в Креймановской гимназии, и пишет сочинение «о человеке» и «о земле». Филология поглощает у А. А. весь досуг от гимназических занятий, но дает ему полное удовлетворение. «Что открыла мне филология?»—спрашивает он в письме от 4-го марта 1879 г.,—и отвечает: «мне теперь много и много ясно, много и много стало понятно, я проследил за древнейшею жизнью человека, и я часто переношусь во блаженные времена Адама, идеального Ходжетцова (такова была фамилия учителя англ. яз.) человека»...

Было необходимо, чтобы гениальный мальчик, который, по его собственному сравнению, «мчался по обширной равнине филологии, подобно необузданному коню», нашел себе в своих научных занятиях опытного руководителя. «Давнишнею меч-

тою» Шахматова был Ф. И. Буслаев, который навсегда остался для него «основателем русской филологии» [1]). И ясно, что влекло к этому ученому мечту мальчика-лингвиста: «он 1-й из русских составил историческую грамматику» (письмо от 2-го февраля 1879 г.). А. А. Шахматов, двадцать лет спустя, так вспоминал о своем юношеском влечении к Буслаеву: «Из всего написанного о русском языке я не читал ничего более интересного, более живого и талантливого этого ядра Исторической грамматики Буслаева (второй части книги «О преподавании отечественного языка»— «Материалы грамматики и стилистики»). Целостное отдание себя науке, «сила ума и воображения, точный анализ и блестящая гипотеза, мечта и глубокое знание, наука и поэзия», а главное—«живое, полное любви и творческой силы отношение этого человека к истине»—поразили Шахматова в Буслаеве. Но не суждено было, чтобы этот художник, созерцавший сквозь внутреннюю форму слов культурную жизнь и поэзию прошлых веков, сделался учителем А. А. Он нашел себе руководителя в кругу более молодого поколения—учеников Буслаева. Это случилось в 1879—1880 гг.

Эти годы—чрезвычайно важный момент

---

[1]) См. «Четыре речи о Буслаеве». Спб. 1898 г., 7 стр.

в жизни А. А. Шахматова. К этому времени относятся его первые знакомства с московскими профессорами-филологами. Желая выяснить, имеет ли какой-нибудь научный интерес его «сочинение о происхождении различных слов, навеянное отчасти чтением Макса Мюллера», А. А. при посредстве любителя лингвистики—учителя английского языка Годжеца—знакомится с проф. Н. И. Стороженко. Тот, пораженный лингвистическими познаниями юного гимназиста, направляет его к В. Ф. Миллеру, который, помимо университетских курсов истории древнего востока, санскрита и древне-персидского языка, «на высших женских курсах предлагал тогда чтения по истории русского языка и истории древнерусской литературы» [1]). В. Ф. Миллер сначала не совсем приветливо встретил молодого лингвиста, не желая его признать за «свыше одаренное существо», и подверг суровой критике развитую им фонетическую теорию. Но скоро убедился в беззаветной преданности филологии необыкновенного мальчика и предложил ему Compendium Шлейхера и самостоятельную научную работу—изучение языка жития Феодосия по рукописи Успенского собора. Тогда же—с рекомендательным письмом того же Стороженко—является Шахматов

[1]) Шахматов, А. А., В. Ф. Миллер. Некролог. Изв. Акад. Наук 1914 г. № 2, 75 стр.

к проф. Ф. Ф. Фортунатову, который «отнесся к нему с отеческой любовью и принял его всецело под свое руководство». Этот замечательный лингвист, учиться у которого приезжали иностранные языковеды, был представителем иного научного течения и диаметрально-противоположного интеллектуального уклада, чем Буслаев; это—философ-математик, с поразительной силой абстрактно-логического мышления. «Фортунатов был воплощением чистого научного творчества»,—вспоминал один из его талантливейших учеников—проф. В. Н. Щепкин. «Атмосфера бескорыстной пытливости и незыблемой логики была разлита в его аудитории» [1]).

И для Шахматова также, по его признанию, Фортунатов стал «воплощением той самой науки, около которой сосредоточились все его симпатии и интересы». И в научном образе Шахматова с тех пор как бы сочетались два лика—Буслаевский и Фортунатовский: необычайной силы художественная интуиция, особенно в историко-культурных воспроизведениях, и математическая четкость дедуктивных лингвистических построений—при строгой точности сложных индуктивных операций.

У Фортунатова А. А. знакомится с его ближайшим другом—Ф. Е. Коршем. Раз-

---

[1]) В. Н. Щепкин. Фортунатов Ф. Ф. Некролог. Русск. Фил. Вестн. 1914 г. № 3—4, 417 стр.

носторонний ученый, удивительный знаток множества языков—не только индо-европейских, блестящий филолог - классик, исследователь метрики, любитель литературы и поэт, поразительно остроумный и общительный собеседник—Ф. Е. Корш, по словам А. А. Шахматова, имел немалое влияние на дальнейшее развитие его научных интересов. В беседах с этими светилами филологии «поле науки, как пишет А. А., шире развернулось перед ним», и бесповоротно установилась собственная «запашка» его в этом поле. От дерзновенных юношеских мечтаний об озарении светом филологии судеб вселенной А. А. возвращается к той задаче, которая пленила его в раннем детстве,—к исследованию судеб истории русской народности, и прежде всего одной из важнейших сторон ее—истории русского языка. Бедность русской лингвистики сразу же раскрылась пред А. А. Шахматовым, когда он, работая над языком жития Феодосия, стал искать и спрашивать у своих руководителей указаний на предшествующие исследования. По их словам, «у нас положительно ничего нет по древне-русскому языку, которое могло бы служить элементарным пособием для его изучения» (9-го марта 1880 г.)—сообщает А. А. Ему казалось прискорбным, что даже Несторова Летопись—«этот величественный и самый дорогой памятник старины» — не имеет

грамматики. И он с жаром отдается исследованию рукописи жития Феодосия и сопоставлению ее с печатными изданиями, потому что «житие Феодосия имеет большое значение при попытке определить характер первоначального языка Нестора и его манеры письма» [1]).

Так параллельно с усвоением лингвистических взглядов учителя—Фортунатова и с широкой общей филологической подготовкой начались практические занятия А. А. историей русского языка. Они велись под руководством Фортунатова, а результаты их, по словам А. А., «проверялись» в беседах с Ф. Е. Коршем. Они первоначально сводились к детальному палеографическому описанию древнейших рукописей и сверке с ними изданий. Результаты этих наблюдений по отношению к двум рукописям — жития Феодосия и Изборника Святослава 1073 г.—были в течение 1881—1882 г. напечатаны в Archiv'е славянской филологии, издаваемой акад. Ягичем (V, VI B.).

В связи с этим в 1881 г. состоялось знакомство А. А. Шахматова с акад. И. В. Ягичем. Между ними завязывается деятельная переписка, и акад. Ягич, по его собственному признанию, дорожит письмами юного своего корреспондента, пол-

---

[1]) Zur Kritik der altrussischen Texte. Archiv für Sl. Phol., V B, 613.

ными новых и глубоких соображений по вопросам истории древне-русского языка, изучает их. В лице акад. Ягича А. А. Шахматов нашел друга из старой школы славистов, без отчетливой и строгой филологической методологии, но с чрезвычайно широким общеславянским кругозором, привязанного к драгоценным свидетельствам текста.

В этом ученом содружестве с самыми видными представителями филологической науки в России гимназист Шахматов играл не пассивную роль воспринимающего ученика, но сразу же выступил сотрудником в научной работе своих учителей. Для Фортунатова он наводит в архивах нужные ему справки о литовских изданиях и санскритских рукописях; в письмах к Ягичу он сообщает ряд своих новых наблюдений над языком и графикой рукописных текстов, и академик признает их значительность.

Так естественно и быстро непосредственное, вдумчивое изучение древне-русских оригиналов дает А. А. надежный материал для критики чужих концепций и для самостоятельных языковых построений. Способность критической оценки и дар творческих достижений А. А. сделались явны уже широкому кругу филологов в 1882 г.—после диспута А. И. Соболевского, когда, при защите им магистерской дисертации («Исследования в

области русской грамматики»), вслед за Тихонравовым, Фортунатовым, Дювернуа, оппонентом выступил юноша - гимназист Шахматов. Возражения были так серьезны, и собственные мнения А. А. по спорным вопросам так убедительны, что Ягич охотно предложил им место на страницах своего Archiv'a (Beiträge zur Russischen grammatik, B. VII). И теперь еще в них ярко бросается в глаза прекрасное и точное знание рукописей, чем рецензия Шахматова выгодно отличается от диссертации Соболевского, опиравшейся на печатные тексты.

В 1883 г. А. А.—по окончании гимназии—«с радостью» поступает в Московский университет. Его занятия русским языком теперь выливаются в форму большого самостоятельного «исследования об языке новгородских грамот», которое принимается для печатания в академическое издание («Исследования по русскому языку, т. I). В процессе этой работы пред А. А. Шахматовым встает ряд чрезвычайно острых методологических проблем, от решения которых в значительной степени зависела плодотворность фонетических построений, основанных на изучении рукописей. Широкий размах творческой фантазии Шахматова смущает редактора «исследований по русскому языку» — акад. Ягича, который сначала предостерегает его от «искусственных построек», но затем сам соглашается с ними.

Тогда же—в связи с раскрывшимися А. А. «затруднениями», которые ставит на пути историку языка искусственная графика памятника, в нем пробуждается тяга к непосредственному изучению живых народных говоров. И он в 1884 г. совершает диалектологическую поездку в Олонецкую губ., которую повторяет в 1886 г. Результатом ее, помимо интересных языковых наблюдений, были многочисленные записи народных сказок.

Диалектологические сведения стекаются к А. А. в ответах на разосланную им в 1887 г. програму для собирания особенностей живой речи.

Так скопляется у него свежий и значительный материал по народной диалектологии.

1887 год—год окончания А. А. университета и оставления при нем для подготовки к профессорскому званию. Научные замыслы А. А. в это время чрезвычайно обширны. Являясь вдохновителем молодого кружка московских филологов, он стремится организовать собирание материалов для исторического словаря русского языка. Вместе с тем его творчество, выходя за пределы русской диалектологии на широкое поле славяноведения, влечется к самым запутанным и сложным проблемам акцентологии (статьи о сербо-хорватском ударении в «Русск. Фил. Вестн.» за 1888, 1889, 1890 гг.).

В 1890 г. А. А. сдает магистерский экзамен и с осени приступает к чтению лекций в Московском университете по истории русского языка. В своем курсе он переносит уроки Фортунатова в не исследованную область русской диалектологии, подчеркивая неразрывность научной связи своей с учителем.

Но «сложные душевные переживания» заставили А. А. неожиданно для всех оставить преподавание в университете и принять на себя обязанности земского начальника в родных краях в трудные годы неурожая и холеры. Здесь в самоотверженной работе он ближе знакомится с «живой народной струей». В нем вспыхивает та горячая любовь к деревне, к русскому крестьянству, вера в него, которую сохранил он до смерти, развивается то интимное понимание народной психики, которое создавало А. А. множество деревенских друзей в его многообразных соприкосновениях с русским крестьянством.

Установление живой связи с народом А. А. считает необходимым условием и для успешного несения «тяжелого бремени профессуры» по истории русского языка, которая «предполагает знакомство с историей русского народа, с нравственным и умственным состоянием его в прошедшем и настоящем» (письмо к Фортунатову, 1890 г.).

А. А. «с увлечением» изучает «крестьян-

ский быт и формы крестьянского землевладения».

Зовы московских друзей и лестные предложения университетского начальства не могли поколебать решимости А. А. — отдать несколько лет на непосредственное служение простому народу. Но «в камере своей, между делом», он писал диссертацию: «Исследования в области русской фонетики». Она была основана не только на прежде воздвигнутом из материала письменности и живой диалектической речи фундаменте, но и на непосредственных наблюдениях «земского начальника». Явившиеся, как ее завершение, «мысли об образовании современных нам народностей» излагаются А. А. в особой статье: «К вопросу об образовании русских наречий» (Р. Ф. В. 1894, № 3—4), которая еще не свободна от влияния гипотезы Погодина и А. И. Соболевского о великорусском типе обитателей древне-киевской земли. «Фонетика» А. А. Шахматова начинала новую эпоху в построении истории звуков русского языка. Вполне понятно, что, когда он—в 1894 году—представил ее в качестве магистерской диссертации, она завоевала ему степень доктора.

Жизнь Шахматова в полюбившейся ему деревенской обстановке продолжалась. Но уже с начала 1894 г.—начинаются переговоры о привлечении А. А. в Академию Наук, по инициативе председателя отделе-

ния русского языка и словесности А. Ф. Бычкова. Ак. И. В. Ягич горячо приветствует эту мысль: «Когда уже мне не было суждено посвятить все свои силы вам..., то я хотел бы, по крайней мере, видеть в среде вашей человека, который мог бы продолжать (и успешнее, великолепнее, чем я сам) начатое мною. Таким я считаю только Шахматова» (письмо к А. Ф. Бычкову от 13 (25) апр. 1894 г.). В нем Ягич прозревал «труженика», одушевленного «стремлением поднять уровень нашей интеллигенции в смысле истинного славянского сознания» (письмо от 18 (30) авг. 1894 г.).

В мае 1894 года Шахматов получил оффициальное предложение занять место адъюнкта Академии Наук. Его манила перспектива великого общественного служения—«возможность быть полезным не для одного себя, а для всех вообще». 24 мая 1894 г. он пишет А. Ф. Бычкову: «Любовь к русской науке и живой интерес к ней заставляют меня волноваться при одной мысли работать в Академии Наук». В декабре 1894 г. состоялся переезд А. А. Шахматова в Петербург, который с тех пор стал главной ареной его культурно-просветительной и научной деятельности.

Сразу же «молодой избранник» с кипучей энергией принимается за осуществление неотложной задачи русского языковедения, которая манила его еще в Москве,— за составление словаря русского языка.

и под его редакцией академический словарь отказывается от ограничения литературными источниками и становится общерусским, стремясь включить в себя все «сокровища живого слова» с лексическими параллелями из других славянских языков. Это расширение задания, продиктованное ясным пониманием методов науки о русском языке, как исторической диалектологии, вызвало с некоторых сторон, напр., ак. Ягича, возражения. Но А. А. Шахматов неуклонно держался намеченного пути.

С момента избрания в Академию Наук (с 1897 г. А. А.—экстраординарный, с 1899—ординарный академик) Шахматов становится инициатором и вдохновителем ряда широко задуманных научных начинаний, лишь благодаря которым сделались возможными быстрые и прочные успехи русской, отчасти даже обще-славянской филологии за последнюю четверть века. Воскреситель периодических ученых изданий Отделения русского языка и словесности, редактор его Известий, директор Академической библиотеки, председатель и деятельнейший член бесчисленных совещаний и комиссий, вырабатывавших и осуществлявших планы изданий памятников русского, старо-славянского языков, произведений русских классиков и других ученых предприятий, вождь Академии в деле культурного единения славянства, собиратель вокруг Академии всех свежих научно-

филологических сил; с 1907 г. руководитель всей деятельностью отделения русского языка и словесности; автор важных записок по разным вопросам науки и просвещения, которыми Академия Наук откликалась на общественные события начала XX в.,—ак. А. А. Шахматов в этой сфере может быть всесторонне освещен и оценен лишь на фоне общего обзора деятельности Академии Наук.

В этой упорной организационной работе, направленной на создание деятельных учено-филологических ассоциаций, поражала в А. А. не только страсть к науке, но и рационалистическое убеждение в ее морально преображающей власти.

Отдаваясь науке весь, А. А. Шахматов не был индифферентным созерцателем общественных событий: он шел в передовых рядах русской интеллигенции, откликаясь на явления общественной жизни, как «один из немногих русских гуманистов», защитник истинной свободы, всегда покорный «велениям нравственного закона, начертанного в сердце каждого гражданина» (из обращения А. А. в Совет Петр. Университета—1917 г.).

Но эта кипучая общественная деятельность поистине удивительным образом не мешала его великому научному творчеству, которое—с вступлением в Академию Наук—чрезвычайно интенсивно двигается сразу по нескольким направлениям. Изучение

живой народной речи—теперь сильнее всего влечет А. А. С его именем связана организация планомерного собирания особенностей современных диалектов. Он вырабатывает для этого программы, редактирует и издает присылаемые на них ответы. Сам предпринимает ряд диалектологических поездок в глубь деревень, обычно в те места, где сталкивалось на путях колонизационных движений несколько диалектических групп. Новизна и богатство открытого таким образом материала дали возможность А. А. в серии исследований решить ряд наиболее сложных вопросов исторической фонетики русского языка (об аканьи, полногласии и других явлениях).

Параллельно с этим идет изучение рукописей и оценка надежности извлекаемого из них материала. Особенно замечательны «исследование о двинских грамотах» (1903) и «несколько заметок о языке псковских памятников XV в.» (Ж. М. Н. Пр., 1909 г., № 7).

Но история русского языка строилась А. А. Шахматовым, как одна из глав в системе славяноведения. Исследовательский интерес к славянским языкам манит А. А. в юго-славянские земли. Там он в 1896 г. изучает посавские и черногорские говоры. Письма его оттуда проникнуты глубоким внутренним влечением к славянству. Так, из Брода в Славонии А. А. от 30 мая 1896 г. пишет А. Ф. Бычкову: «Своею

поездкою я очень доволен: как будто устанавливается у меня нравственная связь со славянством, к которому мы так близки, и которое в лучшей своей части возлагает столько надежд на Россию. В Сараеве мне удалось отметить некоторые местные особенности произношения, а также получить запись одной интересной сербской народной песни о крещении Руси... Брод, который меня особенно интересовал еще в России, даст мне, вероятно, возможность написать обстоятельную статью о славонском наречии». Это была единственная поездка А. А. в славянские страны. Непосредственных диалектиологических наблюдений в этой области ему больше не пришлось производить. Но добытый другими исследователями материал ему прекрасно был известен и, оживая в его интуитивном воспроизведении, располагался в неожиданно новые и стройные ряды. И А. А. был не только компетентным судьей выдающихся работ по славистике (Решетара, Гебауэра, Щербы), который всегда вносил в них новое слово, но и одним из наиболее оригинальных реставраторов славянских «празыков».

Лингвистические вопросы сплетались в творчестве А. А. с историко-культурными проблемами. На пути к их решению он встречается с историей древне-русской литературы. Его первый печатный труд из этой сферы, явившийся в 1897 г., был по-

священ сочинению преп. Нестора—житию Феодосия, с именем которого была связана и первая лингвистическая работа А. А. И с тех пор стройным рядом идут историко-литературные труды его, сосредоточившиеся вокруг сложных вопросов о летописных сводах и их источниках.

Летопись не была исключительно объектом филологического анализа А. А.: она давала ему новый материал для освещения «древнейших судеб русского племени». И уже в 1899 г. А. А. вновь возвращается «к вопросу об образовании русских наречий и русских народностей» (Ж. М. Н. Пр., 1899 г., № 3—4). Эта проблема волнует его до конца дней. Она вставала пред А. А. все в более и более ясном и отчетливом очертании, и в ответах своих он стремился исчерпать ее без остатка. Для того, чтобы восстановить этот сложный и длительный процесс распада славянства на отдельные группы и древнейших разветвлений одной из них—восточной, процесс, в котором языковые явления шли параллельно с изменением этнических группировок, с реорганизацией культурно-экономических связей и политических отношений, А. А. Шахматову приходилось совоплощать в себе археолога, этнолога, историка-социолога и лингвиста. Ему покорно служила не только славистика: базисом его историко-культурных построений были свидетельства и других языковых

групп, которые соприкасались со славянами на путях своих передвижений—и не только индо - европейских — балтийской, германской, кельтской, но и чужих—финской, тюркской. Поразительна целостность научного облика А. А.: те великие задания, над решением которых с таким успехом и силою неутомимо трудился он всю свою жизнь, были намечены им в юношеские, гимназические годы.

Все пути творчества А. А. Шахматова сходятся у одного величественного здания, которое возводил он с отделкой мельчайших деталей,—истории русского языка, как основного отдела истории русской культуры. Сначала он работал над уяснением отдельных проблем науки о русском языке—наиболее запутанных, подготовляя материал для общего синтеза. Внешний толчок к такому объединяющему предприятию дала возобновившаяся с 1908 г. профессорская деятельность А. А., теперь уже в Петербургском университете. С этих пор он каждый год приносил с собою новый, тщательно проработанный курс, которым создавалась та или иная часть здания науки о русском языке. То были курсы введения в историю русского языка, где излагался процесс образования русских наречий и народностей, исторической фонетики его—от доисторичееких времен до современных диалектических разветвлений, и исторической морфологии. В 1911—

1912 г. А. А. предложил чтения по живому литературному языку, давши блестящее описание его звукового строя и форм— с историческими комментариями. В последние годы особенно увлекали А. А. курсы синтаксиса народного и литературного языка.

Однако, лишь историческая фонетика русского языка в завершенном виде построена им; его учение об историческом движении форм слов охватило только древнейшие эпохи и не дошло до систематики глагольных образований; курс синтаксиса сохранился в рукописном виде и дает необычайно стройную и полную классификацию синтаксических схем литературного языка, без далеких исторических экскурсов.

И вот вся эта грандиозная работа гениального исследователя—на лекциях воспроизводилась перед аудиторией. А. А. раскрывал перед своими слушателями оригинальную, им самим созданную систему исторического развития русского языка, вводя их в самый процесс своей творческой работы, уча их острому и четкому анализу сложного лингвистического материала и на их глазах освобождая его от противоречий силою широких дедукций. Стиль его курсов был чрезвычайно точен, меток и лаконичен. Мысль двигалась, не останавливаясь. Не всем по силам было, особенно в начале, следить за этим пла-

номерным, неустанным движением открывающей новые горизонты мысли. И наука А. А. Шахматова не была наукой для всех. Но те, кто с усилием подымался на такую высоту, чтобы деятельно созерцать эту воспроизводимую пред ним непрестанную победу гениального творящего ума над хаосом фактов, с неотрывным вниманием следили за ней и посильно усваивали не только содержание, но и самые приемы лингвистических исследований А. А.

Все здание истории русского языка А. А. оставил недостроенным, потому что эту сверхчеловеческую работу—уже на путях ее завершения—прервала смерть трагическая и неожиданная—одно из самых печальных следствий «смутного» времени. В годы культурного распада А. А. Шахматову приходилось совмещать с разносторонней научно-исследовательской и организаторской работой непосильные физические труды. Организм, надломленный нуждой и голодом, не выдержал. Развивалась тяжелая болезнь, и 16 августа 1920 г. после операции А. А. умер.

В лице его сошел в могилу не только гениальный ученый, но и великий русский человек необычайной высоты духа и гражданской честности, самоотверженный покровитель всякого научного дарования, «один из немногих русских гуманистов».

II.

Для того, чтобы понять значение трудов А. А. Шахматова в области истории русского языка, полезно оглянуться на его предшественников.

Начало научно-историческому изучению русского языка положил Востоков. Это—блестящий классификатор явлений литературной речи и проницательный палеограф.

Он идет к истории языка от палеографии, которая всего более отвечала его холодному, аналитически-упорному уму и помогла ему установить исконные отличия между языком русским и древне-церковно-славянским.

Рядом Надеждин и Даль по дилеттантски закладывают основы диалектологии живой народной речи. Отсюда начинается странное, противоестественное разобщение двух дисциплин—истории русского языка (понимаемой почти, как палеография) и описательной диалектологии.

За Востоковым идут его медлительные эпигоны. Их не смущают фантастические взлеты русской лингвистической мысли, безуспешно торопившейся нагнать быстро развивавшееся в зап. Европе сравнительное языкознание.

Интерес к вопросам истории русского языка становится чрезвычайно напряженным: они дебатируются усиленно в журналь-

ной полемике и отдельных монографиях. Протоиерей Павский (1841) сравнивает явления современного ему литературного языка с другими языками индо-европейского семейства, не стесняясь хронологией, охваченный патриотическим желанием найти место русского языка «в порядке родственных языков». Катков (1845) идет по тому же пути, но робко привлекает и издания старых памятников. Конст. Аксаков старается и в сфере лингвистики сохранить лик мечтательно-философствующего славянофила. Но материал из изданий, привлеченный им, значительнее, а некоторые его стилистические замечания, синтаксические указания и общие методологические соображения (напр., о значении грамот, как памятников живой народной речи) положительно интересны и ценны. Ряд других исследователей (ботаник и литератор Максимович, Костырь, Зеленецкий и т. д.) с большей или меньшей дозой остроумия и вероятности рассуждают о явлениях русского языка.

И лишь Буслаев пытается систематически изложить задачи науки о русском языке. В оценке А. А. Шахматова он—первый историк русского языка: его предшественники лишь толпились у преддверия молодой, неопытной науки. Буслаев (О преподавании отечественного языка, 1844 г., 2 ч.) доказывает органическую связь между древне-русским языком и современным

литературным; выдвигает значение народных говоров, как «основной стихии литературного языка», сплетает тесно историю языка с историей словесности и историей культуры, к фонетическому, грамматическому и лексическому изучению языка присоединяет стилистику, разрабатывая план объединения способов сравнительной и исторической лингвистики.

Это была поэтически изложенная широкая программа будущих построений истории русского языка, с некоторым количеством живых иллюстраций. Но в ней был существенный пробел: не было достаточно разъяснено отношение русского языка к языкам славянским.

И, как дополнение к поэтическим картинам Буслаева, явились «Мысли об истории русского языка» И. И. Срезневского (1849 г.).

Здесь сделана попытка наметить основные моменты в процессе распада общеславянского праязыка и главные эпохи в диалектической эволюции русского языка. Талант Срезневского был ярче и смелее в постановке задач, чем в их выполнении.

По намеченному Срезневским пути медленно двигались его ученики—Лавровский и Колосов. Их труды являлись под знаменем «собирания и предварительной разработки материала». Но этот план осуществлялся ими неумело, хоть и старательно. Материал извлекался из недоброкачествен-

ных изданий. Буква отождествлялась со звуком. Изучение старинного памятника и живой народной речи было почти в полном разобщении. Описание народных говоров велось бессистемно—путем спешной регистрации особенностей, на большом участке, с нивеллировкой диалектических отличий и без точного физиологического и акустического очерка звукового строя. Эта характеристика приложима и к трудам других историков языка—предшественников Соболевского и Шахматова (напр., Житецкого), исключая Потебни.

Потебня настойчиво учил, что история русского языка и диалектология—одно и то же: «разделение русского языка древнее XI в., и вся история его, основанная на свидетельстве памятников, имеет диалектологический характер (К истории звуков, т. I, 2).

Но удаленный от рукописных хранилищ, Потебня принужден был уделять свое внимание исконным, праязыковым отличиям русской ветви и открытию связи между живыми говорами и письменными свидетельствами прошлого, пока интерес к синтаксису, семантике и поэтической символике не увлек его целиком в другие области.

В таком положении находилась наука о русском языке в то время, когда гимназист Шахматов, руководимый В. Ф. Миллером, Ф. Ф. Фортунатовым и Ф. Е. Кор-

шем, избирает ее своею специальностью: была груда недоброкачественного материала, из которого надо было с опаской извлекать ценные крупицы; методы лингвистических изучений не были установлены ни по отношению к памятникам, ни к живой речи; палеография подавляла историю языка; изучение народных говоров не было оценено в достаточной мере (Бётлинг и Грот говорили лишь о литературном произношении); путь исторического развития русского языка в его разветвлениях не был обозначен четко. Словом, был хаос—не упорядоченный исторически, и неизвестен был подход к созданию из него научной системы. Лишь одиноко стояли синтаксические вехи, водруженные Потебней.

В Казани тогда—по почину Бодуэна де-Куртенэ началось подробное описание живой литературной и народной речи, преимущественно фонетическое. Там создавалась оригинальная языковедная школа. Правда, отдавшись исследованию общелингвистических проблем, психологическим и экспериментально-фонетическим наблюдениям, она стала в стороне от разработки вопросов истории русского языка. Но влияние ее было сильно, тем более, что основные ее принципы в начале не расходились резко с тем обоснованием, которое получала лингвистика в трудах другого гениального русского языковеда—Ф. Ф.

Фортунатова. Точность фонетических определений, стремление к открытию законов языка, интерес к психологическим факторам его развития, указание социальных основ его эволюции, признание языковых и историко-культурных взаимодействий— общие черты обоих школ (ср. «Очерк науки о языке» Н. В. Крушевского—1883 г. и «Сравнительное языковедение» Ф. Фортунатова). Но тяготение к историзму, к детальному разграничению эпох в явлениях языка и к отчетливой классификации на этой почве последовательных диалектических дроблений, стремление к гипотетическому воссозданию «праязыков» с определением всех их звуковых оттенков— характерные особенности лингвистических методов Фортунатова. И не случайно, что из его слушателей вышли те два исследователя, которым больше всего обязана история русского языка,—Шахматов и Соболевский.

А. А. Шахматов в полной мере усвоил методы своего учителя. Правда, Фортунатов не стремился к объединению и взаимоосвещению языковых и историко-культурных построений.

Но в необъятной и часто ему впервые открывавшейся сфере сравнительно-исторического анализа явлений балтийско-славянских и—даже шире—индо-европейских языков это было и невозможно. Не было еще твердой лингвистической основы для

таких широких историко-культурных сопоставлений. Фортунатов лишь трудился над ее созданием. Но он настойчиво подчеркивал, что «диалектическое развитие языка происходит параллельно с дифференциацией общественных союзов, параллельно с их распадением на новые общества», и что образование новых союзов влечет за собою борьбу соприкоснувшихся языков, которая может закончиться их слиянием или победой одного» (Сравнительное языковедение, лекции 1899—1900 г., 78—79 стр.). Само собою разумеется, что мимо этого методологического указания нельзя было пройти при работах над построением истории одной языковой ветви. А А. А. влек на этот путь еще и образ Ф. И. Буслаева.

Под такими влияниями и с такими заветами приступает А. А. Шахматов к занятиям историей русского языка. Ему приходилось самому ткать тонкую сеть, прежде всего, конечно, фонетическую, перекрещивающихся и развивающихся языковых явлений с момента начала самостоятельной жизни русского языка вплоть до современных его диалектических делений, определить ее узлы. На лицо были лишь ее обрывки.

И А. А. начинает подготовительные работы по собиранию надежного диалектологического материала, ища его в древних рукописях и живой народной речи. Но

скоро он убеждается, что памятники—не очень надежный источник для истории русского языка. Прежде всего он открывает, что в процессе приспособления древне-церковно-славянской письменности к русским потребностям создалось особое, искусственное, церковное произношение, которое представляло собою своеобразный компромисс между «старо-славянским» и южно-русским звуковым строем. Оно-то, главным образом, и отражается в древних рукописных текстах, по крайней мере, до XIV века. Под его влиянием стирались черты живой речи, которую можно воссоздать, лишь отделивши искусственно-книжный, церковный слой.

Конечно, рядом с церковными книгами и благочестивыми литературными упражнениями шли от древности и светские, деловые памятники. Но и в них—учил А. А.—отвлечение фонетических явлений в высшей степени затруднено окаменелостью юридических формул и традиционной передачей графических приемов, которые и возникали-то далеко не всегда—в целях условного воспроизведения живого русского произношения.

И А. А. Шахматов вскрывает, как устойчиво хранились графические системы, в которые лишь медленно просачивались вновь развивающиеся черты живой речи. Поэтому А. А. грубым заблуждением признает определение хронологии языко-

вых процессов по времени их обнаружения в памятнике.

Ему ясны были и другие причины, которые чрезвычайно осложняют процесс отвлечения фонетических явлений от графики рукописи.

Русская орфография явилась, как чужое платье, приспособленное к другому языку. Уже в начальный период русской письменности одна и та же графема ассоциировалась с представлением о различных звуках, и, наоборот, несколько графем служили символами одного акустического представления.

В дальнейшей истории это несоответствие становится еще ощутительнее в виду консервативности письма, которая представляет резкий контраст с изменчивостью языковых форм. Поэтому, как непременную задачу всякого исследования языка по рукописи, А. А. выдвигает требование раскрытия *всех* ассоциаций между буквенными изображениями и звуками, так, чтобы было ясно звуковое значение любой буквы во всех положениях в данном памятнике.

Но для А. А. и история орфографии не была только той первой ступенью, через которую лингвист должен подняться к своим целям; она оживала в его изучении, как глава истории русской культуры, определяющая направление культурных влияний. Прежде всего на Русь проникали искусственные графические систе-

мы, созданные в юго-славянских странах. Усвоенные книжниками господствующих культурных центров,—они кое в чем приспособлялись ими к передаче особенностей их говора, но все же были очень далеки от его воспроизведения. При поверхностном отношении исследователя к таким искусственным графическим приемам, которые полюбились грамотеям того или иного центра, — ему грозит опасность составить совершенно превратное представление о скрытых под ними языковых явлениях. Вопрос о взаимоотношении древне-русского письма и языка становится еще запутаннее оттого, что воспринятая влиятельным культурным центром искусственная орфография—отсюда могла распространяться по всей периферии тянувшей к нему территории, переходя затем в соседние культурно-политические центры и здесь подвергаясь новым наслоениям.

И на анализе графики древне-псковских памятников А. А. чрезвычайно ярко показал к каким широким откровениям культурных связей может привести путь тщательных графических сопоставлений.

Стараясь совлечь графическую шелуху с псковских рукописей, он не только выявлял живую диалектическую речь, но и устанавливал все те этапы, через которые из юго-славянских стран постепенно—через Волынь и Белоруссию—искусственные графические приемы проникли в Псков.

А их путь—был путем и иных, более глубоких культурных и литературных влияний.

Но изучение истории орфографии и в другом отношении укрепило А. А. в новых отправных точках при реконструкции языковой эволюции. Именно, он здесь особенно ощутительно осознал роль культурно-политических центров как в выработке и распространении известных школ письма, так и в процессе языковой нивеллировки. Изучение древне-киевских памятников, графика которых, чуждая южно-русских провинциализмов, вызвала у ак. А. И. Соболевского гипотезу о великорусском типе первоначальных насельников киевской земли, подсказало А. А. Шахматову, что однообразием орфографического шаблона в них прикрывались устойчивые черты литературного языка, выработавшегося в г. Киеве, как главном культурно-политическом и экономическом центре страны. Роль столичных и вообще городских центров в образовании диалектических отличий, в нивеллировке говоров интеллигенции, в выработке литературного языка с небольшой амплитудой разноместных колебаний, до А. А. Шахматова совершенно не учитывалась, по крайней мере, по отношению к прошлой истории языка. А. А. Шахматов, ища выхода из тех противоречий, которые создавались обычным отождествлением воссоздаваемого по рукописям языка с народным говором широкого

района, пришел к выводу, что в древнерусских городских центрах господствующие классы пользовались не просторечием, а своеобразными разветвлениями того литературного языка, который сложился в стольном городе, с ослабленным налетом диалектизмов.

Если во всем этом красивом построении и была некоторая доля модернизации прошлого, все же чрезвычайно плодотворна была ясная постановка вопроса о роли культурно-политических и социально-экономических факторов в ходе развития русского языка. Так преодоление трудностей, связанных с воссозданием прошлой жизни языка по рукописным текстам, не только помогло А. А. разрушить тот примитивизм, который царил до него в пользовании свидетельствами памятника, но и раскрыло ему ряд новых методологических принципов построения истории языка.

Придя в результате своих занятий над древними рукописями к выводу о ненадежности и ограниченности их языковых показаний, А. А. не закрывал глаз на важность их изучения, особенно для реконструкции процесса обогащения русского языка в лексическом его составе.

Усваивая принципы А. А. Шахматова, всегда надо иметь в виду, что художественная и вообще оригинальная русская литература с XVII в. была использована им позднее, и то лишь как материал для

синтаксических наблюдений, и что вопросы семантики в широком смысле этого слова в круг его систематических изучений не входили.

А. А. первоначально увлечен был всецело исследованием тех видоизменений языка, которые обусловливают его деления на диалекты в этнографическом смысле,—т.-е. фонетического и морфологического строя. И вот с этой точки зрения он оценивает значение рукописей, как источников. И, конечно, он допускает, что в изучении развития языка интеллигенции, скованного в своей эволюции традициями письменности, роль памятников особенно велика. Но и здесь, по его мнению, исходным пунктсм языковых построений должна служить живая речь.

«Письменные памятники»—пишет А. А. (в рецензии на Historická mluvnice jazyka českého Gebauer'a)—«не всегда дают надежный материал для определения звукового состава минувших эпох; действительно, преемственность письма, книжного языка, да и самой литературы неминуемо ведет за собой перенесение из одной литературной эпохи в другую звуков и форм, давно исчезнувших в языке, чуждых живому произношению... Главный источник, откуда извлекается надежнейший и важнейший материал для исторической грамматики—это, конечно, современные живые говоры».

Эта точка зрения, шедшая с запада от die junggrammatische Schule, была диаметрально противоположна тем, которые царили раньше в русском языкознании. С ней были связаны у А. А. новые методы лингвистических исследований. Они до гениальности просты. В них поразительна лишь четкость и острота его мысли, которая в планомерном восхождении своем от современности к отдаленным доисторическим эпохам зорко следила за всеми деталями исследуемого вопроса, охватывая «историю языка и самый язык во всем их объеме». Путь исследований А. А.—главным образом, фонетических, которым он больше всего предавался,—можно описать так. Его конечной целью было—восстановить общерусский праязык—подробно и точно, как живой, и сделать ясным весь процесс его диалектических дроблений и скрещений во всех частях и во все эпохи. Этот праязык воссоздается на основе сравнительного изучения современных русских языков—великорусского, белорусского и малорусского—и их истории. На пути к его воспроизведению исследователь должен определить состав этих трех языков в эпоху их первоначального сложения. Кроме того, он не в праве отстранить от себя вопрос, произошли ли они непосредственно из общерусского праязыка, или их образованию предшествовала иная группировка наречий. Ключ к решению этой проблемы

открывается в тщательном изучении говоров, входящих в состав трех современных русских языков, и в анализе их явлений.

Эта сложная проблема не сразу нашла устойчивый ответ у А. А. Но уже с 1899 г. взгляды его по этому вопросу в существе своем определились и с временным колебанием остались неизменны. В изучении говоров великорусского языка А. А. открылось исконное различие между двумя его группами—северной и южной—которое некоторыми своими чертами (аканье и оканье), без сомнения, восходит к отдаленнейшей исторической эпохе. В самом деле, аканье известно и белорусскому языку, и южно-великорусскому наречию. Нет возможности считать его возникновение в одном из них результатом позднего воздействия другого. Вывод ясен: это явление развилось в тот период, когда южно-великорусское наречие составляло одно языковое целое не с северно-великорусским наречием, а с прилегающей группой говоров белорусского языка. Это предположение о первоначальной раздельности северного и южного поднаречий великорусского языка подтверждается тем, что черты их сходства немногочисленны и могли возникнуть, как это следует из их сравнительного анализа, не раньше XII в.

Таким образом, мысль о выделении великорусского языка непосредственно из

общерусского праязыка отвергается: она противоречит показаниям современной диалектологии, которые говорят, что великорусский язык сложился в результате взаимодействия двух обособленных раньше диалектических групп—северной и южной, которая включала в свой состав часть говоров, отошедшую затем к белорусскому языку. Но ведь эта последняя группа лежала к югу лишь от северно-русского наречия. В общей же сфере древне-русского языка ее положение было среднее или восточное. Ее А. А. так и называет. Если она частично вмещала в себе современные белорусские говоры, то естественно рождается сомнение в непосредственном выделении из праязыка и белорусского наречия. Анализ его говоров с несомненностью устанавливает первоначальное различие в них двух типов—одного, близкого к малорусскому, другого—к южно-великорусскому (иначе—средне-русскому). Ясно, что и белорусское наречие—продукт более поздней формации, сложившийся путем объединения разнородных диалектических групп, одна из которых ведет к малорусскому языку. Следовательно, и этот последний—в первоначальной своей истории—развивался в иных условиях, включая в себя и позднее отколовшиеся к белорусскому языку говоры. Удобнее этот первоначальный тип затем распавшегося наречия назвать южно-русским.

Так диалектологические наблюдения с логической неизбежностью ведут А. А. к гипотезе, что современному делению русского языка на три ветви—великорусскую, белорусскую и малорусскую—предшествовало другое, которое сменило непосредственно период единства праязыка,—деление тоже на три группы, не совпадающие с существующими—северную, среднюю (или восточную) и южную.

Историк русского языка прежде всего должен определить те черты, которыми характеризовались каждое из этих трех ранних разветвлений русского языка. Правда, их уже в значительной степени раскрыл тот предварительный анализ элементов живой речи, который привел к этой гипотезе о первоначальной диалектической группировке в сфере русского языка. Но с полной четкостью особенности древнейших диалектических групп, определяются, конечно, лишь после выяснения,—по крайней мере, предположительно,—границ и состава живых их потомков. Для этой цели особенно важно изучение говоров переходных, т.-е. таких, которые в своем строе хранят указания на взаимодействие различных диалектических типов. И А. А. проявляет необыкновенный интерес к таким говорам. В 1896 г. в своем исследовании: «Звуковые особенности Ельнинских и Мосальских говоров» он мотивирует свои устремления к изучению их так: «ни Ка-

лужские, ни Смоленские говоры в большей их половине не могут быть отнесены к белорусской семье; это—промежуточные говоры между обоими великими семьями—южно-великорусской и белорусской, причем типичные, наиболее характерные особенности той и другой сложились на окраинах: на западе—в центрах литовско-русского государства, на востоке—в Москве (Р. Ф. В., 1896 г., № 3-4, 62 стр.).

Через наблюдения над такими говорами, которые силою исторических обстоятельств выработали своеобразный языковой компромисс между разделившимися членами некогда одной семьи, А. А. Шахматов стремился определить среди них направления современных влияний и характер бывших раньше взаимоотношений.

И в предисловии к другому своему диалектологическому описанию — Лекинского говора, Егор. у., Рязанской губ., А. А.—настойчиво подчеркивал «тот особенный интерес, который говоры, подобные Лекинскому, представляют для истории образования великорусского наречия. Здесь слились в одно стройное целое особенности северно-русские с особенностями средне-русскими или восточно-русскими» (Описание Лек. гов. Спб. 1914 г., 6 стр).

Так параллельно с описанием группировок современных говоров и наречий, с определением границ распространения тех или иных явлений в их пределах—

раскрывается не только характер предшествовавшего им деления языковой территории, но и фонетический, формальный строй древнейших диалектических групп.

При том детальном и изумительно тонком анализе, которому А. А. Шахматов подвергал явления живой речи, они располагались в стройные хронологические ряды: одна черта цеплялась за другую, от нее завися или ее обусловливая. Свидетельствами памятников проверялись выводы, подсказанные изучением современных говоров. Ведь этими-то коррективами и ценны рукописи. Но часто и без них показания живой речи достаточно полны: они помогают определить не только хронологию языкового явления, но и его первоначальный тип. Решение этих задач облегчено тем, что говоры разных мест не идут в своей эволюции одинаковым темпом, а как бы намечают разные этапы в развитии языковых форм. Таким образом, по мнению А. А. Шахматова, в особенностях живой литературной и народной речи заложены ценнейшие указания на ход предшествующих языковых изменений. Историческая грамматика может быть целиком создана на их основе. Только надо обеспечить условия правильности умозаключений—полноту диалектологического материала, точность его описания и четкость его географического членения. Работая в области исторической фонетики русского

языка, А. А. всячески испытывал правильность своих методологических принципов, особенно при решении наиболее сложных вопросов о судьбе гласных звуков. Сюда, к области вокализма, влек его интерес к проблемам славянского ударения и количества, но также ясное сознание, что лишь в детальном раскрытии судьбы гласных звуков определяются точно характер и условия скрытых от письменности, но не менее важных качественных изменений согласных.

И вот, в воссоздании истории гласных звуков А. А. Шахматов особенно ярко обнаружил алгебраическую отточенность своих фонетических построений, которые покоились на убеждении в законосообразной и неуклонной медленности языковых изменений, проектируемых в форме планомерно расщепляющихся и сплетающихся ветвей одного древа.

Не очень охотно в фонетических вопросах прибегая к фактору аналогии, А. А. выдвигал, главным образом, принцип органической связи и преемственной последовательности звуковых изменений, относя зародыши звуковых явлений в отдаленные эпохи. Поэтому вслед за Ф. Ф. Фортунатовым он находил возможным говорить не о типах звуков в праязыках, а об их тончайших оттенках. Эта детализация в описаниях далеких языковых эпох смущала представителей иных

языковедных школ, особенно старого типа. «Как будто общеславянский праязык нечто вроде говора Саратовского уезда, который г. Шахматов ежедневно слышит»,— недоумевал А. И. Соболевский («Ж. М. Н. П.» 1894 г., № 4, 424).

С помощью таких приемов исследования А. А. Шахматов воспроизводил русский праязык, как живой говор, со всей сложностью и тонкостью его фонетического строя. Через воссоздание явлений трех древнейших диалектических групп шел к этой цели он. Но некоторые черты праязыков обнаруживаются и непосредственно в процессе описания живой диалектической речи в ее многообразии. К ним могут быть отнесены те особенности, которые встречаются на всей языковой русской территории, если только возведение их к общерусской эпохе не опровергается показаниями рукописей и не вносит противоречий в объяснение других языковых процессов, с ними связанных.

Но, помимо сопоставлений данных современной диалектологии, к восстановлению русского праязыка был другой подход, которым охотно пользовался А. А., трудный, но неизбежный,—от праязыка общеславянского. Отправляясь от общеславянского праязыка, следя за процессом его распадения, А. А. Шахматов определял те черты, которые русский язык получил от него в наследство. Но чтобы применять

этот метод, исследователь должен отнестись самостоятельно к вопросу об общеславянском праязыке и к нему приложить свои разыскания. Вот как сам А. А. Шахматов говорит об этом: «Общеславянский язык для исследователя языка не дается, как нечто готовое; полагаясь, конечно, на выводы сравнительной грамматики славянских языков, исследователь все-таки не может уклониться от проверки и критического отношения к ним уже потому самому, что, в числе прочих данных, данные также русского языка служат к восстановлению искомого общеславянского прошлого» (Курс истории русского языка, 1908—1909 г., 341 стр.). И, верный себе, А. А. стремился в деталях воссоздать звуковой строй общеславянского праязыка, наметить основные моменты его членения, определить их хронологию и тем внести свет в истории отдельных славянских языков, в том числе и русского, создавши прочный базис для их всестороннего построения. Так русский праязык вырисовывался перед А. А. на широком фоне его проникновений в глубь языковой истории всего славянства.

Все эти разыскания в течении своем направлялись теми обще-лингвистическими воззрениями, которые выработал себе А. А. В сфере теоретической лингвистики А. А. не отступил от принципов Фортунатова, но развил их в сторону сближения с

методологией других культурно-исторических дисциплин и психологией «языкового сознания» [1]).

Рассматривая язык, как явление социальной жизни, и его эволюцию, как результат взаимодействия индивидуального момента и социальной среды, А. А. Шахматов изменение языка ставил в зависимость от тех психических факторов, которые помимо сознания говорящего преобразуют его говоренье.

Стройные ряды грамматических категорий, переплетенных нитями психических ассоциаций, устанавливались А. А. не только для настоящей, но и прошлой жизни языка. И он с изумительным чутьем выяснял цепь причин, повлекших видоизменение или устранение известной категории или обусловивших взаимодействие различных морфологических рядов. А. А. был настолько тонок и убедителен в своей трактовке тех психических процессов, которыми определяются пассивные и активные состояния звуковых представлений, что лингвисты Бодуэновской школы, напр., Л. В. Щерба, готовы в области морфоло-

[1]) Лишь синтаксические построения А. А. Шахматова знаменуют преодоление системы Ф. Ф. Фортунатова на путях искания нового синтеза, в котором своеобразно переработаны взгляды Потебни, Вундта, Сведелиуса и других мыслителей-лингвистов, касавшихся синтаксических вопросов, и философов, освещавших с психологической точки зрения процессы суждения.

гии находить наиболее яркие проявления его лингвистического гения. Но А. А., в отличие от сторонников этого направления, отрицал существование в сознании говорящего представлений звуков самих по себе, независимо от слов и частей слов, как таковых. По его мнению, «звук в сознании говорящего—это неотделимая от звукового представления часть его». Поэтому изменения звуков в языке происходят независимо от изменений звуковых представлений,—напротив, сами влияют на них. Однако и причины изменений звуков самих по себе — характера психологического, а не физиологического. К ним А. А. относил: экономию сил — «этот общий психический закон, руководящий действиями человека»; антиципацию мускульных ощущений; фактор аналогии и влияние одного языка на другой.

На основе этих общих принципов психологии языка, которые, конечно, создавались не без влияния западных теоретиков лингвистики, особенно Вундта, Пауля и Дельбрюка, А. А. осветил материалы для исторической грамматики русского языка. Восхождение к праязыку было лишь предисловием к той цельной и всесторонней конструкции истории русского языка, о которой мечтал А. А. с детских лет. По мысли его, чисто лингвистические построения, направленные на воссоздание прошлых эпох в жизни языка, должны

получить опору в истории народа, им говорившего. «Жизнь языка протекает параллельно с другими явлениями в жизни народной» и зиждится на основах—историко-культурных, этнологических и социальных. «Эти соображения, с одной стороны, позволяют проверять факты из жизни языка фактами из жизни народа». С другой стороны, факты, извлеченные из жизни языка, являются непререкаемыми показателями фактов из жизни народной, «почему-либо не засвидетельствованных, оставшихся не отмеченными, как, впрочем, остались не отмечены древними летописцами и наивными летописаниями большая часть внутренних явлений народной жизни». Отсюда вытекает требование излагать историю языка в связи с общей историей народности. Строя историю языка, как часть, и притом главнейшую, истории русской культуры, А. А. не ограничился примирением схем, вытекающих из анализа диалектических явлений, с господствующими историко-культурными концепциями. Он новыми путями шел к решению основных проблем исторической жизни русской народности, вооруженный теми «непререкаемыми» свидетельствами, которые дала ему история языка. И понятно, что особенно силен должен быть интерес А. А. к древнейшим, доисторическим судьбам русского племени. Здесь, по его словам, «историк языка на-

ходится в более счастливом положении, чем историк народа, который основывает свои заключения об эпохах доисторических на скудных внешних свидетельствах, случайных упоминаниях имен у древних писателей, случайных вещественных находках, позднейших переживаниях в обычаях и верованиях».

И А. А. до конца дней волновал вопрос о «древнейших судьбах русского племени». К его освещению в трудах его и следует теперь обратиться.

III.

Доисторические судьбы русского племени тесно связаны с процессом распада всей славянской семьи, которая в свою очередь образовалась в результате длительных и сложных изменений в составе индо-европейской народности. И. А. А. Шахматов коротко и четко намечает направление движений, предшествовавших образованию славянства. Не в Азии и не в южно-русских степях, а в Средней Европе он предполагает родину индоевропейцев, где-нибудь в Южной Германии или западных областях Австрии (близко к гипотезе М. Муха). К такому взгляду приводит А. А. устанавливаемая им последовательность в отделении от индо-европейского пранарода племен, неудержимо влекшихся к средиземно-морской культуре. Ее средоточия и очаги

были обетованной землей для насельников территории, служившей периферией тому базису, которым было Средиземное море. Славяне приобщились к этой культуре после германцев. Поэтому-то они лишь вслед за германскими народами выступили на историческую сцену. «Германская стена» отделяла славян от цивилизации, и через нее просачивается к ним средиземно-морская культура. Об этом говорят следы сильного влияния германского языка на праславянский.

Но ведь этими соображениями—с точки зрения А. А.—в корне подрывается господствующая в науке гипотеза, которая определяет территорию славянской прародины бассейнами Вислы и Днепра. В самом деле, в Поднепровьи славяне через посредство Черного моря были бы раньше германцев втянуты в сферу средиземноморской культуры. Но этого не случилось. В Повислиньи они могли бы непосредственно познакомиться с греками и романцами, но доводы лингвистической палеонтологии решительно указывают на германское посредство. Следовательно, прародину славян надо искать севернее Днепра и восточнее Вислы. Это—бассейн Западной Двины. К этой территории ведут сохранившиеся во всех славянских языках от времен праязыка—слова: *тис* и *плющ*. Соответствующие виды растительного царства известны Балтийскому побережью, но они

не могли быть на склонах Карпат, где со времен Шафарика находили исконную родину славянского племени.

Новое определение территории славянской прародины могло быть оправдано лишь подробно начерченной этнографической картой восточной Европы в соответствующие эпохи.

И А. А. Шахматов без колебаний отдался этому величественному замыслу. «Язык земли», история заимствованных слов, свидетельства древних писателей, археологические находки—сложный аггрегат исторических, географических, этнографических, археологических, лингвистических фактов, подчиняясь гениальной интуиции, располагался новыми рядами.

Картина эта оставлена А. А. не в законченном вполне виде: некоторые части ее он переделывал. Так, в венедах Плиния и Тацита А. А. одно время признавал кельтов, которые появились сперва в Повислинье, затем готами были раздвинуты на две группы—сев.-восточную, покорившую славян, и юго-восточную, занявшую северные склоны Карпат (Archiv für Sl. Phil. XXXIII B. Zu den ältesten Slavisch-Keltischen Beziehungen). Впоследствии А. А. вернулся к отождествлению венедов-венетов со славянами. (Введение в историю русск. языка, 39; Древнейшие судьбы русского племени, 42).

Но основные черты созданной этнографи-

ческой картины А. А. неизменно охранял до конца своего. Южными соседями славян, от которых они отпали вследствие иного устремления культурно-экономических интересов, были, по мнению А. А., ближайшие их сородичи, балтийское племя; к востоку, юго-востоку или югу от него обитали финны, которые, в свою очередь, как показывают наблюдения над их лексическими заимствованиями, на юге соприкасались с иранцами.

Таким образом, славяне на территории своей первой прародины оказывались в сфере балтийской культуры, оторванные от черноморского юга и находясь в непосредственном соседстве лишь с балтийцами, германцами и лопарями. Праславянский период был длительным. Многообразие языковых явлений, развившихся в ту эпоху, требует такого признания. Но само единство языковой жизни славян—говорит А. А. Шахматов—«зависело, конечно, от обособленности их территории, а также от возникновения среди них такого культурно-экономического центра, который поддерживал единство племенной их жизни». Так от лингвистики—в концепциях А. А.—излучается свет на общую историю.

Однако, изменения в группировке соседей увлекают славянство на новые места. В удалении готов из Повислинья А. А. видел причину последующих передвижений славян, которым посчастливилось вслед за

прусами овладеть местностями, покинутыми германцами. Повислинье — вторая общеславянская прародина. О ней говорит германское слово—*бук*, хранящееся в славянских языках. Здесь славяне познакомились с ним и приняли германское его обозначение. Здесь же начинается распад славянства на отдельные племена. Данными славистики А. А. подкрепил дуалистическую теорию[1]) о разделении славян первоначально на две племенные группы—юго-восточную и западную, которая, пользуясь разрежением германского населения, направилась в бассейн Одера и Эльбы.

Юго-восточная же ветвь, охваченная тягой северных варваров к землям богатой добычи и яркой культуры, двигается в области Дуная. Но в борьбе за добычу произошло разделение юго-восточной ветви на два племени, словен и антов. В этих антах, о которых с VI в. по Рожд. Хр. начинается ряд исторических свидетельств, узнаются восточные славяне. Мирное сожительство их с словенами завершается кровавой борьбой. Отброшенные ими от дунайской равнины, восточные славяне заняли лесистые местности между Днестром и Днепром (Волынь и северные части Подолья и Киевщины). Это—прародина Рус-

---

[1]) Впрочем в курсе истории русского языка, читанном в 1908 — 1909 г., заметны некоторые колебания А. А. в решении вопроса о первоначальных делениях славянства (стр. 375 и предш.).

ского племени. Здесь, в тесном сожительстве, у восточного славянства, сжатого аварской силой, развивались те звуковые и морфологические черты, которые характеризуют эпоху обще-русского праязыка. Сложность и богатство возникших в этот период общерусских языковых особенностей вызывают у А. А. предположение о длительности этой эпохи, которая определяется по крайней мере двумя столетиями—VII и VIII, и об этнографическом единстве восточного славянства, сплотившегося тогда вокруг одного племенного центра. И А. А. видит этот культурно-экономический центр в Волыни (ср. известие араба Масуди о племени Валинана).

Но центробежные факторы ведут к разъединению восточного славянства. По предположению А. А., оно вызвано «тем ударом, который был нанесен с запада аварами, отступавшими перед войсками Карла Великого».

Это движение на восток разгромленных аварских полчищ произвело глубокое потрясение в жизни славянства, и в связь с ним А. А. ставит далекое внедрение ляшских поселений в пределы восточной Европы (радимичи и вятичи — от рода ляхов).

Гипотеза о влиянии ляшской ветви на русский язык сложилась у А. А. на почве углубленных исканий разъяснения тем своеобразным особенностям, которые ярко

отражаются в некоторых говорах белорусского и северно-великорусского наречий.

Но он долго колебался в ответе на вопрос, видеть ли этих ляшских потомков в одних радимичах или присоединить к ним—в согласии с летописью—и вятичей.

В своем предсмертном труде: «Древнейшие судьбы русского племени» Шахматов окончательно склоняется к мнению о ляшском происхождении вятичей (в виду их названия у Гардизи Vantit с носовым звуком).

Рисуя процесс распада восточного славянства, А. А. основывается на извлеченных из русской диалектологии выводах о трех древнейших языковых ветвях. И в них ищет он опоры для выяснения этнографической и политической группировки восточного славянства в ту эпоху. Она восстанавливается им в таком виде. Та племенная группа, которая сосредоточилась в северном Поднепровье, получает толчок от двигавшихся на восток ляшских племен и усваивает от них много языковых особенностей. Здесь—объяснение характерной северно-русской шепелявости. Но еще у истоков Днепра, эти северно-руссы разделились на две ветви: кривичей, которые направились к западу, по течению Зап. Двины, и словен, которые сконцентрировались в озерной области и верхнем Поволжье. Колонизационные волны ляхов сильнее захватили кривичей, и это повело

к их лингвистическому обособлению. Однако, эти северо-западные племенные организации совместно вовлекаются в сферу скандинавского влияния.

Другая группа, «восточная», этнографический состав которой А. А. в последнем труде своем отказался точно определить [1]), осаживается в области Донца и Дона, тяготея к хозарской цивилизации. О раннем обособлении этой племенной ветви неопровержимо говорят ее языковые черты (аканье).

Так от первоначального ядра восточного славянства откалываются две группы—северно-русская и восточно-русская. Оставшаяся на юге часть его широко распространяется, в силу естественных условий занятой ею местности. Она охватывает полян, древлян, северян, дреговичей, бужан, которые позже назывались волынянами; дулебов, которые выселились в VIII—IX в. в землю дреговичей за Припять, и смешанный тип уличей—тиверцев [2]).

[1]) Об этнографическом составе восточной группы А. А. в ранних трудах своих высказывал такие гипотезы: в исследовании «К вопросу об образовании русских наречий и русских народностей» (1899) он относил к ней радимичей, вятичей, северян и дреговичей; в статье: «Южные поселения вятичей (Изв. Акад. Наук, 1907) он пришел к выводу, что она исчерпывалась вятичами; этот взгляд он неизменно развивал до своего предсмертного труда: «Древнейшие судьбы русского племени», где признал вятичей ляшским племенем.

[2]) Состав южно-русской группы А. А. установлен не сразу: сначала он к ней относил полян,

Так при свете данных языка, подкрепленных обще-историческими соображениями, делаются явны первоначальные моменты в жизни русского народа.

Но этот процесс этнографической и политической дифференциации сдерживается образованием нового мощного культурно-политического центра. К уяснению вопроса о создании новых концентраций народной жизни побуждали А. А. прежде всего факты языка. Оказывалось, что, несмотря на распадение начального общерусского единства, в XI—XII вв. на всем протяжении русской языковой территории переживался целый ряд общих явлений в области звуков и форм. Это замедление начавшейся дифференциации было обусловлено тем политическим объединением

древлян, дулебов, бужан, волынян, тиверцев, уличей и хорватов («К вопросу об образовании русских наречий и русских народностей»); затем в «Очерке древнейшего периода истории русского языка (XIII стр.) А. А. сюда присоединил северян, но высказал предположение, что дулебы, бужане и волыняне—это постепенно сменявшиеся насельники Буга; ранние обитатели—дулебы могли расселиться среди других племен, когда их сменили бужане, которые позже стали называться волынянами. В «Очерке истории украинского языка» А. А. признал сомнительной принадлежность вообще к восточно-славянской семье хорватов. После этого у него установилась более прочная схема. В «Древнейших судьбах русского племени» он дополнил ее указанием на смешанный тип уличей и тиверцев.

русских племен, в котором сыграли свою роль варяги.

И А. А., поставивши проблему во всей ее широте, дает оригинальное решение варяго-русскому вопросу (с гипотезой о «русском» разбойном острове в окрестностях Старой Руссы,—гипотезой, подтвержденной затем ак. С. Ф. Платоновым), указывая пути для объяснения таких исторически-значительных слов, как *Русь* и *варяги*.

Движение Руси на юг, создание первой русской державы в Киеве, отпадение северных городов и возникновение там варяжского государства со средоточием в Новгороде, борьба варяжского севера с русским югом и победа варяжского государства, с которым была земля, и образование новой единой государственной организации—Киевской Руси, название которой стало национально-политическим именем—все эти важнейшие вопросы были вовлечены А. А. Шахматовым в круг исследования и получили новое освещение.

Выяснивши, каким образом Киев сделался проводником особой культуры, которую можно назвать южно-русской, А. А. описывает процесс образования на церковно-болгарской основе литературного языка, которому предстоял долгий путь национализации на русской почве. Его влияние он видел и в общих языковых переживаниях, охвативших все диалекти-

ческие группы в эпоху XI—XII в. «Пути единения в области языка ясны и определенны: правящие классы, интеллигенция, духовенство получают из центра и просвещение, и язык и проводят их дальше в народные массы» (Очерк, XL). Так опять обнаруживается неразрывная связь явлений языковых с фактами социально-политической и культурно - экономической жизни.

Но в недрах этого киевского государства закладываются основы новой этнографической и языковой группировки. Разрушение хозарского царства открывает путь азиатским кочевым ордам в пределы восточно-славянского мира.

И прежде всего ими сдвинут был восточный форпост славянских поселений в бассейне Дона. Русское население юго-востока, гонимое набегами степных варваров-печенегов, затем сменивших их половцев, отхлынуло с насиженных мест в двух направлениях: часть его двинулась к северу, к Рязани, в бассейн Оки и влила в себя западно-славянских вятичей, а другая потянулась на северо-запад, к пределам Белоруссии, где столкнулась с дреговичами, кривичами и радимичами.

Средняя Россия, где раньше из русских племен господствовали северно-руссы, захватившие верхнее течение Волги и продвинувшиеся к Оке, становится ареной оживленных колонизационных движений

и привлекает к себе густое население с юго-востока.

Экстенсивные движения сменяются интенсивными, и начинается стремительно быстрый рост центров окского бассейна и верхнего Поволжья. Он стоит в причинной связи с запустением центров среднего и южного Поднепровья.

Социально-экономические и культурно-политические устои Киевской Руси обнаруживают свою шаткость в борьбе со степью. И в XII в. Киев должен был передать свое значение суздальским центрам, которые стали наследниками его своеобразной культуры и политических традиций. Южно-русское племя было обезглавлено. Ее западная часть—галицко-русское государство, когда была порвана связь его с «колыбелью русской государственности и гражданственности», связывает свои судьбы с Польшей.

Но южно-русское племя, которое перед кочевниками принуждено было отодвинуться к северу, все же сохранило свою древнюю территорию. В новом аспекте А. А. Шахматову стали ясны слабые стороны «великорусской» гипотезы А. И. Соболевского. «Прямых потомков полян, древлян, северян—говорит он—можно признать в населении современных северных уездов Киевской губ., современной Волыни и южных уездов Черниговщины и северной Полтавщины» (Очерк, XLVI).

Это—вывод прочный из исторической диалектологии малорусского языка. Лишь в южных местностях осели позднее хлынувшие с юго-запада колонизационные волны галичан.

Но южно-русские поселения верхнего Поднепровья и Заприпятья, которые в значительной степени ассимилировали себе укрепившиеся здесь ляшские племена (радимичей), втягивались в новую жизнь. Они должны были вступить во взаимодействие с той частью восточно-руссов, которые залили своей колонизационной волной Белоруссию. К ним же тянули кривичи с бассейна Западной Двины. Здесь закладываются основания литовско-русского государства. Здесь вырабатывается тип народности белорусской: она создалась, как результат слияния старых насельников белорусской территории — южно-руссов, впитавших в себя ляшские элементы, с пришедшими сюда восточно-руссами. Так говорят факты языка и общеисторические соображения.

И тогда южно-русская племенная группа, от которой оторвалась часть сородичей, замыкается на более ограниченной территории и вступает в новый фазис своего существования—молорусский. В области языка тогда создается ряд общемалорусских явлений, резко обособивших ее от остальных русских племенных групп.

И в то время, как старые южные центры

падают, и медленно организуются новые устойчивые формы политических отношений, упорно идет созидательная работа на северо-востоке, который «подбирал осколки старой киевской культуры». Суздальская земля, населенная северно-руссами, как только к ней примкнули с юга восточно-руссы, создает могущественную политическую организацию. Столкнувшись на путях колонизационных движений и с медленным ростом национальных стремлений преодолевая этнографический и культурно-экономический сепаратизм, восточно-русские и северно-русские племена слагаются в великорусскую народность и вступают в период общей языковой жизни. Эта новая великорусская нация создает Московское царство.

Так блестяще А. А. Шахматов разрешил одну из самых сложных проблем истории русской культуры,—в частности и истории русского языка—о связи процесса образования русских наречий с общим ходом жизни русской народности.

Дальше—периоду средневековья А. А. не уделял такого пристально-настороженного, исследующего внимания и не вскрывал детально взаимной обусловленности в направлении диалектических связей и делений с социально-экономическими, культурно-политическими и этнографическими факторами. Но он горячо приветствовал диссертацию Д. К. Зеленина («Великорус-

ские говоры»), ценную методологическим устремлением именно в эту сторону.

И был основной нерв русской языковой жизни—литературный язык, язык интеллигенции, в истории которого А. А., правда, в общих линиях, удалось проследить до конца непрерывную культурную преемственность интеллигентских масс. Сложившись в Киеве в кругах интеллигенции на церковно-болгарской основе, литературный язык впервые испытал здесь благотворное влияние народной среды. Отсюда он вместе с киевской интеллигенцией переходит в центры Руси северо-восточной, постепенно национализируясь и становясь все ближе и доступнее живой речи народной. Окончательно развился он в Москве—новом оплоте русской интеллигенции, где в звуковом строе своем слился с живой речью великорусского народа. И А. А. был уверен, что «созданному, таким образом, литературному языку обеспечено будущее: момент общения интеллигенции с родным народом оживит его развитие, если он заглохнет; воскресит его, если он замрет» (Очерк истории малорусского языка. Украинский народ в его прошлом и настоящем. Т. II, 705 стр.).

Так А. А. Шахматов выполнил завет пленившего его еще в детстве Ф. И. Буслаева: им создана стройная и полная картина звукового и морфологического развития русского языка с момента его выделения

из недр языка праславянского. И картина эта помогла ему «постигнуть дух создавшего язык народа, понять его культурную историю, его сложное и великое прошлое».

Пусть некоторые из смелых языковых и культурно-исторических интуиций А. А. не выдержат нападений грядущей научной силы. В частности, его гипотеза о прибалтийской прародине славянства встречает сильные затруднения и едва ли преодолеет их.

Но все построения А. А., уже победившие скептическое сознание ученых, и те, которым суждено или не суждено этого сделать,—одинаково поражают необычайной широтой мысли и богатством сконцентрированных знаний. И среди этого разностороннего научного материала, из которого А. А. строил величественное здание истории русской народности, им, конечно, не могли быть обойдены литературные памятники древне-русской письменности. И работа его в области истории древне-русской литературы образует третий приток, который вливался в его историко-культурные концепции.

IV

В истории литературы А. А. Шахматов видел «историю развития духовного творчества, воплощающегося в письменных памятниках». И задачей исследователя литературного памятника ставил он: восстано-

вить процесс творческой работы, на него положенной; определить приемы творчества выяснить тот общественно-исторический фон, среди которого сложилось литературное произведение; установить круг его источников, способы их художественной обработки и проследить последующую литературную историю памятника. «Замыкаясь в одном каком-либо памятнике, исследователь никогда не получит возможности определить его состав и происхождение («Обозрение летописных сводов Руси северо-восточной» И. А. Тихомирова. Критич. отзыв акад. А. Шахматова. 1899 г., 16 стр.).

Методы литературных изучений, по мнению А. А., не отличаются от лингвистических; единственно надежный путь их—сравнительно-исторический.

«Подобно тому как исследование языка—пишет он—не может оставаться на почве одного языка и довольствоваться случайным и несистематическим сравнением фактов этого языка с фактами других языков; подобно тому как это исследование становится научным только после привлечения к систематическому сравнению данных нескольких родственных языков, причем это сравнение прежде всего приводит к восстановлению древнейших эпох в жизни исследуемых языков, а затем и к восстановлению того общего языка, из которого они произошли,—так же точно

исследователь литературного памятника должен прежде всего подвергнуть этот памятник сравнительному изучению с ближайшими, наиболее сходными, для того, чтобы определить последовательный ход в развитии исследуемого памятника и восстановить тот первоначальный вид, к которому он восходит» (ibid., 16 стр.).

Таким образом, только сравнительное изучение различных списков и редакций литературного памятника может привести к восстановлению первичного, надежного его текста. Только оно может размотать «сложный клубок» позднейших наслоений, образовавшийся вокруг оригинала. А когда восстановлен текст, то для определения его внутреннего облика, всегда носящего отпечаток индивидуальности творца, исследователь его изучение должен начать с выяснения личности автора-составителя (если он неизвестен), времени, места, обстоятельств, при которых он работал. Так осветится та «литературная среда» и та общественно-бытовая и культурно-политическая атмосфера, в которой памятник возникал. А в связи с характеристикой литературных приемов его творца или составителя всплывают новые проблемы о литературных связях и сцеплениях данного памятника с его предшественниками и современниками.

Подобно тому как явления языка находятся в живом взаимодействии одно с

другим, образуя цепь то сплетающихся, то расходящихся процессов, так и «в истории литературы переплетаются в самых разнообразных сочетаниях разные памятники, эволюционные цепи различных литературных произведений».

Понятно, что в этой сложной сети внимание А. А. должны были привлечь наиболее трудно разрешимые узлы, центры многообразных сплетений. И был в ней один такой необыкновенно сложный и перепутанный «литературный клубок», нити которого тянулись на многовековом пространстве, сталкиваясь со множеством памятников древней письменности, то в них вплетаясь, то вкручивая их в себя. И часто следы тех памятников, части которых замкнул в себе этот клубок, лишь в нем и сохранялись. Клубок этот, которым с особенным усердием интересовались до А. А. историки русского народа, видя в нем груды разнородного исторического материала,—было русское летописание. Оно сделалось центром изучений А. А. Шахматова. Это и понятно. К нему должно было влечь А. А. основное устремление его к разрешению проблем о первоначальных судьбах русской народности: для их воспроизведения, как один из основных источников, служила летопись.

Это тяготение к летописи обнаружилось у А. А. еще в детстве, когда летопись Нестора была одной из его излюбленных

книг. Тогда же, как видно из писем А. А., в нем сложилось противоположное господствовавшему в то время представление о летописце, как страстном и одушевленном участнике политической борьбы, и о летописи, как о литературном произведении, отражающем ярко общественные и политические симпатии ее составителей.

Но можно еще конкретнее обозначить ту цель, к которой направлялся А. А. Шахматов в области летописания. Литературная деятельность Нестора Летописца—центральная тема его в истории древне-русской литературы.

Восстановление «Повести временных лет» в ее составе и подлинном тексте было, по словам проф. М. Д. Приселкова, заданием жизни А. А. А составителем ее А. А.—вопреки господствующему в истории литературы взгляду — неизменно считал Нестора Летописца.

Процесс восстановления подлинного, очищенного Нестора—по характеру своему был аналогичен реконструкции «русского праязыка». И в приемах этой работы А. А. остался верен себе: он обратился непосредственно к рукописям, стремясь к проверке печатных текстов, и привлек летописные списки во всем их разнообразии. Утончение приемов и полнота материала привели к тому же результату, как в исследованиях диалектологических фактов. Четкий анализ многочисленных редакций и спи-

сков летописных сводов (их около 200), при интуитивном созерцании синтетического единства в комбинировании отдельных частей, открыл А. А. новый взгляд на существо летописания.

Всегда прозревая за окаменелым памятником живую индивидуальность, А. А. и в летописях увидел целостные литературные произведения, объединенные общей тенденцией их составителя и — вследствие своеобразных приемов компилятивного сращиванья литературных кусков—выдающие свои источники. Идя, как и в исследованиях языковых, от поздних списков к «протографам», А. А. сразу же оценил роль преемственной связи, литературной традиции в летописном жанре.

При таком подходе источниками летописных сводов оказывались не разноместные погодные записи, сплетенные с выписками из древне-русских памятников других типов, а те же своды—ранние, из которых один или даже несколько ложились в основу последующих, подвергаясь переработке—соответственно личным вкусам и общественно-политическим убеждениям продолжателя—и вбирая в свой круг осколки и мотивы соприкасавшихся по темам литературных произведений и легенд.

Создавалась сложная сеть летописных сводов, которые, начиная от восстановленного А. А. древнейшего Киевского 1039 г., в непрерывном и сложном развитии тя-

нулись, то расходясь, то вновь скрещиваясь, влияя на другие литературные жанры и сами испытывая воздействие их и народной поэзии, разнообразясь, в зависимости от индивидуальных склонностей летописцев, до обширных московских сводов XVI, завершенных в украшенном акварельными иллюстрациями - миниатюрами лицевом своде времен Ивана Грозного (А. Е. Пресняков). Вскрывая те литературные источники, которые ложились в основу летописной компиляции или, наоборот, отыскивая памятники, включившие в себя летописные заметки, А. А. исследовал и их, тем более, что часто открытие связи и взаимоотношения их с летописными сводами проливало новый свет как на их историю, так и на историю летописания.

Напр., произведенный им анализ «Памяти и похвалы Владимира» мниха Иакова не только устанавливает несколько литературных слоев в этом памятнике, но и открывает в нем следы летописного влияния. Между тем воссоздаваемые, таким образом, отрывки летописи, использованной составителем «Памяти и похвалы», содержат существенные отличия от дошедших до нас Сводов. Сравнение их с однородными летописными известиями обнаруживает бо́льшую точность их сообщений. Отсюда А. А. заключает, что автор «Памяти и Похвалы» пользовался сводом

более древним, который до нас не сохранился. Ряд побочных соображений, вытекающий из анализа других, соприкасавшихся с летописью, памятников, помогает восстановить и характер этого древнего свода, и условия и хронологию его возникновения.

Приемы сравнительно - исторического изучения летописных сводов приводили А. А. не только к обнаружению внедрений в текст их отрывков из других популярных памятников древне-русской письменности, но и к реконструкции исчезнувших литературных источников. В его трудах истории древне-русской литературы открылись впервые темы и характер множества литературных произведений, о существовании которых она и не подозревала, напр., корсунской легенды о крещении Владимира, и было восстановлено общее содержание тех, о пропаже которых она знала, напр., жития Антония. Все эти розыскания освещали ярко не только взаимодействия литературных памятников и приемы творчества древне-русских книжников, но и одушевлявшую их идеологию и тот широкий культурно бытовой фон, на котором выростала личность летописца. В процессе анализа содержания памятников и отыскания тех тенденций, которые руководили их авторами, влияя на характер обработки доступного им литературного материала и на способ восприятия и обрисовки совре-

менных событий, раскрывалась смена и эволюция идей — церковных и общественно-политических—в правящих кругах с XI по XVI век; раскрывалась история древне-русской интеллигенции.

Как всегда, в интуитивном созерцании А. А. ожил не только книжник-летописец среди его напряженной, компилятивно-научной и творческой работы, но и тот круг лиц, который за ним стоял, и та среда, которая его окружала.

Вместе с тем — в этой работе восстановления протографов и сравнительного анализа руководящих тенденций в литературлых памятниках— А. А. освещал характер и реальные основы тех исторических событий, отголоски которых в своеобразном преломлении находились в летописных сводах. В виде иллюстрации достаточно указать на анализ А. А. «Сказания о первых русских князьях» (А. А. Шахматов. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. С.П.Б. 1908, 289—340 стр.).

Таким образом в литературных работах А. А. сочетались точность филологического анализа, которой он обязан самому себе, как лингвисту, и тщательность историко-культурного коментария. Недаром его учителями были Н. С. Тихонравов и В. Ф. Миллер.

Филологический анализ, которому подвергал А. А. памятник, обычно шел в трех направлениях. То он был узко лингвисти-

ческим: непоследовательности языка и нарушения синтаксических конструкций являли литературные вставки. В иных случаях филологический анализ облекался в форму стилистического сопоставления общих фраз и выражений в двух памятниках, что служило симптомом их литературного взаимодействия или происхождения от общего источника. Но чаще всего анализ был логически смысловым: оценивалось соответствие всех композиционных частей памятника тому идейному замыслу, той тенденции, которая руководила его автором. В этой работе выявления самопротиворечий составителя обнаруживалась неотразимая сила логики А. А. Открытый путем глубокого проникновения в содержание памятника — идейный замысел его творца продумывался А. А. до конца, и все, что воспринималось, как некоторое логическое его нарушение или даже замедление, торможение его осуществления, он считал литературной вставкой или результатом разнообразных переделок, наблюдая за их направлением и причинами.

Может быть, этим отточенным анализом обострялось иногда значение мелких уклонений и случайных несоответствий.

Но этот логически смысловой анализ, всегда выходя за узкие пределы одной рукописи и подвергая сравнению ряды однородных по мотивам произведений, производил оценку целей и характера про-

пусков, вставок и переработок; объединял в одной праформе варианты списков; устанавливал взаимоотношения памятников и приводил к реконструкции первооригинала.

Таким образом А. А. были определены пути летописания с XI по XVI в., восстановлен в существенных чертах состав «Повести временных лет» и подготовлен материал для реконструкции подлинного текста Нестора.

Эти работы А. А. служат органическим дополнением к его лингвистическим и историко-культурным изучениям. Там интуитивным постижением воспроизводил он последовательные изменения в социальных, этнографических и языковых группировках народных масс, обусловленные железною силою экономических и культурно-политических факторов. Там он имел дело с социальной группой, растворявшей в себе индивидуальность.

Здесь — в области литературы, может быть, с некоторой долей модернизации прошлого—А. А. Шахматов созерцал неустанное и разнообразное идейное творчество высоко одаренной индивидуальности [1]).

---

[1]) Библиография трудов А. А. Шахматова до 1914 г. дана в «Материалах для биографического словаря действ. Членов Имп. Акад. Наук» (ч. II 232—235 стр.) и с дополнениями, сделанными Е. С. Исприной, перепечатывается в Сборнике статей и речей, посвященных памяти А. А. Шахматова (Изд. Акад. Наук).

В науке важнее всего—откровение новых путей, новых методов исследования. Новые пути пролагались А. А. Шахматовым во всех областях, в какие он входил. Он не оставил собранной, единой системы методологии лингвистических и шире—историко-культурных изучений. Он не рассуждал о методах, а создавал их в процессе работы. И эта сторона его трудов не умрет никогда: даже тогда, когда его смелые гипотезы будут заменены другими, истинные ученые будут искать в исследованиях А. А. Шахматова радостей созерцания в прошлом великой творческой работы гениального ума.




Колос
Книго изда
тельство

БИОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Т. РАЙНОВ

АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ ПОТЕБНЯ

ПЕТРОГРАД
«КОЛОС»
1924

Настоящее издание отпечатано в типографии Первой Петроградской Трудовой Артели Печатников (Моховая, 40), в количестве 2.000 экз. Петрогублит
№ 2070.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Этой характеристике Потебни не достает очень многого. И прежде всего— единства. Личность и деятельность великого ученого не связаны друг с другом так, чтобы для читателя сделалось ясным, почему и каким образом он проявил себя именно в этой деятельности, а не в другой. Я не мог сделать для читателя понятным то, чего не понял в этом отношении сам. Вероятно, в этом—доля моей вины. Но есть и независящие обстоятельства. Чтобы связать личный характер ученого со свойствами его деятельности, нужно знать его жизнь, в которой этот характер сказывается полнее всего. Между тем, о жизни Потебни мы знаем досадно мало. Как складывалась эта душа? Что волновало ее в разные периоды развития? Во что верил Потебня? Что он любил и что ненавидел? Как он вел себя в серьезные моменты своей жизни? Все это и многое другое нам—по крайней мере, мне—почти

еще неизвестно. Подробная биография великого ученого давно подготовляется к печати. До сих пор она не опубликована. Если, по ее выходе, в ней окажется все то, что нужно знать из жизни Потебни, чтобы понять психологию его деятельности, эта последняя предстанет перед нами в ином, более ярком, свете, чем мы видим ее сейчас. В ожидании этого, я сделал, что мог. В нижеследующем читатель найдет несколько рекогносцировок, предварительных разведок, предпринятых с разных сторон—с одною целью: дать почувствовать огромную духовную индивидуальность Потебни. Сперва я представил Потебню в ореоле растущей известности его в *широких* кругах. Затем попробовал набросать его облик, каким он рисуется при сопоставлении с одновременной *ученой* русской средой. Дальше я попытался разобраться в его *интимной* психологии, насколько о ней можно судить по имеющимся данным. В следующей главе я хотел познакомить читателя с совокупнсстью его идей в целом. В идейном отношении Потебня на редкость богат. В кратком очерке, на который я был обречен тесными рамками этой книжки, нельзя было и думать о сколько-нибудь полной характеристике Потебни с этой стороны. Я ограничился тем, что можно было представить в единой связи наиболее кратким образом.

К сожалению, сюда вошло очень немногое из духовного наследия Потебни. В заключительной главе мне хотелось намекнуть на обще-философское и научное значение его идей. Конечно, сказанного там недостаточно. Но я не имел возможности входить в подробности.

10 июля 1922 г.
с. Шестерня.

ГЛАВА I. — РОСТ ИЗВЕСТНОСТИ ПОТЕБНИ

Русская духовная действительность изобилует массою особенностей, трудно понимаемых европейцами и, к сожалению, далеко не всегда делающих честь русскому национальному самолюбию. Одною из таких особенностей является то, что мы сплошь и рядом начинаем любить наших крупных людей и гордиться ими лишь после их смерти. Они живут среди нас десятилетиями, как алмазы, скрытые в неблагородных породах, и мы обычно так же мало замечаем их, как эти породы замечают заключенные в их недрах драгоценности. Но стоит смерти вырвать крупного деятеля из наших рядов,— и не успеем мы забыть приличной сему, но редко глубокой печали, как начинаем радоваться тому, что покойный *жил* среди нас—и вот теперь украшает наш пантеон. И каждая значительная годовщина его грустной кончины странным образом превращается в какие-то общественные именины.

Такой была и русская судьба Александра Афанасьевича Потебни. Скромный профессор русского языка и литературы в Харьковском университете, он был долго и с почетнейшей стороны известен специалистам. В 1877 году он был удостоен Академией Наук Ломоносовской премии за первый том его главного филологического труда. В 1891 году Русское Географическое Общество, по отделению этнографии, присудило ему свою высшую почетную награду — константиновскую медаль. Несколько раз Академия Наук присуждала ему золотые медали за образцовые рецензии сочинений, представляемых Академии для премирования. В Харьковском университете Потебня долгое время был одним из уважаемых и авторитетнейших членов ученой корпорации. Но все эти признаки известности и выражения признания его ученых заслуг не выходили за узкие, очень узкие пределы круга специалистов по русской филологии и этнографии. Уже среди своих слушателей Потебня не мог считать себя популярным. Филологов в наших университетах, особенно провинциальных, всегда было немного. Но и эти немногие из числа харьковских студентов не все могли и желали научиться чему-нибудь у Потебни. И он с грустью писал незадолго до конца своей жизни одному из своих корреспондентов, В. И. Ламанскому: «Печальная

судьба филологических знаний в России. Порою кажется, что мы идем не вперед, а назад. У нас в этом году на 1005—32 филолога, в том числе по славянорусскому отделению может быть человек 5—6, да и те не по призванию, а ради хлеба... [1]). Может бытъ эта непопулярность вызывалась слишком специальным характером лекций Потебни? Вопрос этот естественно напрашивается, но ответ на него может быть только отрицательный. Чтения Потебни, специальные по назначению, отличались необыкновенной глубиной и широтой выполнения. Его с пользой для себя могли бы слушать и математики, и естественники, и юристы. В прекрасных воспоминаниях о нем одного из таких слушателей не-филологов, А. Г. Горнфельда, это отмечено совершенно справедливо в таких прочувствованных словах: разбирая на своих лекциях по «теории словесности» некоторые художественные произведения, Потебня, между прочим, умел с отличавшей его «душевной тонкостью», «поэтичною жизненностью» и «доказывающей убедительностью» возвышать своих слушателей до «уяснения идеи бесконечности», пробуждая в их душах «веру в бесконечное без логического построения его идеи». «Нас,—продолжает этот слушатель,—охватывала эта атмосфера мышления, это волнение творчества, это мучительное счастье

стремления к истине, той *настоящей*, большой истине, нам сообщалась эта невысказанная горячая вера в будущее. В ответ на слова учителя наш внутренний мир вибрировал в том же тоне, том же тембре, в том же настроении. Мы не апплодировали—*это* было важнее рукоплесканий,—но каждый уносил домой сознание, что с ним произошло нечто хорошее, что сегодняшний день не потерян, что жить и работать еще можно—и должно»... Такова была эта теория словесности [2]). Таков был этот «сухой филолог» — и, однако, у него было мало слушателей. Если так было в университете, то за его стенами Потебня был и вовсе неизвестен. Его несколько публичных лекций, прочтенных в 80-х годах в Харькове, правда, привлекли сочувствие широкой публики [3]). Но то были случайные его встречи с этой последней. Вне Харькова, впрочем, и таких встреч у Потебни с российской публикой не было. Наша журналистика не знала о нем, а без ее содействия и самый крупный русский ученый того времени мог остаться и не раз оставался в общественной неизвестности.

Но вот 29 ноября ст. стиля 1891 года Потебня оставил наш мир. Известие об этом вызвало скорбь и сожаление в ученом мире, русском и западно-европейском. Он умер далеко не старым, всего 56 лет, не

свершив всего, на что он был способен, и не завершив любимого труда всей жизни— своих «Записок по русской грамматике». И только эта преждевременная смерть вызвала первые попытки ознакомить русское общество с понесенною им утратою. В некоторых журналах и газетах появились статьи и воспоминания о Потебне. Славист Будилович в специальном «Славянском Обозрении» за 1892 год об'явил, что эволюция частей речи и предложения, прослеженная Потебнею, «имеет в языкознании такую же важность, как учение Дарвина об изменяемости видов в науках биологических». В «Журнале Министерства Народного Просвещения» В. И. Ламанский указал в том же 1892 году, что «Харьков, вообще Украина наша, всегда может указывать с гордостью на Потебню, как на один из своих драгоценных даров нашей общей русской образованности». Б. М. Ляпунов посвятил изложению и популяризации идей Потебни прекрасную статью в «Живой Старине» за 1892 год. В том же году все эти и некоторые другие статьи и некрологи, вызванные смертью Потебни, были собраны и перепечатаны, с приложением портрета Потебни, в прекрасном сборнике: «Памяти А. А. Потебни», изданном Харьковским Историко-Филологическим Обществом. Наконец, в 1892 же году Э. А. Вольтер напечатал в издаваемом

Академией Наук «Сборнике отделения русского языка и словесности» очерк: «А. А. Потебня». «Библиографические материалы для биографии». В следующем году на страницах «Киевской Старины» появилась лучшая до сих пор работа о Потебне— Д. Н. Овсянико-Куликовского: «А. А. Потебня, как языковед-мыслитель». Благодаря всем этим попыткам популяризации и оценки, имя Потебни становится известнее, оно проникает в широкие круги мыслящих людей. Но заметим, что путь, каким сведения об одном из величайших русских ученых доходили на первых порах до русского читателя не-специалиста—был все еще путем тесным и не всем известным. Широкая публика не заглядывала в специальное «Славянское Обозрение» или в «Живую Старину». Да и «Журнал Министерства Народного Просвещения» не был из числа растространенных. Одна «Киевская Старина» читалась в 90-ые годы довольно усердно, и то больше на Украине. А толстые русские журналы на первых порах, кажется, никак не реагировали на смерть Потебни. Лишь в начале 90-х годов известность Потебни вступает в новую стадию. О нем не раз упоминал Д. Н. Овсянико-Куликовский, особенно в своих «Этюдах о творчестве Тургенева» (1894—6), многими читавшихся. Он же сделал попытку пустить в широкую публику основ-

ные филофско-синтаксические идеи Потебни в своем «Синтаксисе русского языка» (1902). В харьковском журнале «Мирный труд» около того же времени появились интересные воспоминания о Потебне. В 1901 году вышел труд И. М. Белоруссова: «Синтаксис русского языка в исследованиях Потебни», еще более популярный, чем книга Овсянико-Куликовского. Настала пора ввести идеи Потебни в школу, и попытка, сделанная в этом отношении Б. А. Лезиным, имела широкий успех. В I томе выпущенных им в 1907 году «Вопросов теории и психологии творчества», а также во 2 выпуске II тома того же издания, содержатся статьи, излагающие и популязирующие идеи Потебни по теории поэзии и прозы. Одновременно с выходом 2-го выпуска II-го тома этого популярного сборника появился и I-й том сочинения Н. К. Грунского: «Очерки по истории разработки русского синтаксиса», в котором много внимания уделено синтаксическим трудам Потебни. Несколько позже вышел труд А. М. Пешковского: «Русский синтаксис в научном освещении», основанный на идеях Потебни и представляющий попытку их школьного изложения. После всего этого идеи великого ученого становятся широко известными. Один из представителей русского символизма, Андрей Белый, посвятил их характеристике инте-

ресную статью (в журнале «Логос» за 1912—1913 г.), в которой доказывал, между прочим, что эстетические взгляды Потебни могут быть использованы для обоснования символизма. Впрочем, еще раньше эту же мысль, только в постановке более близкой к Потебне, высказывал А. Г. Горнфельд, один из сторонников эстетики Потебни. На Потебню создается затем даже мода, которою не преминули воспользоваться в интересах своего эстетического кодекса некоторые футуристы (напр., Хлебников). Одною из последних популяризаций идей Потебни является книжка П. А. Бузука: «Очерки по психологии языка» (1918). Все эти справки, не претендующие на полноту, имеют целью пояснить, как росла посмертная известность Потебни в России. Последним штрихом, дополняющим эту картину, является чествование недавнего 30-летия со дня смерти Потебни. Я не знаю, как оно прошло в разных уголках России, и во многих ли из них вспомнили о Потебне к этому дню,—мне известно лишь, как реагировали на этот юбилей украинская Академия Наук и украинское Советское правительство. Первая постановила учредить особый Комитет для издания сочинений Потебни, и правительство отпустило на это средства. К собранию сочинений Потебни будет приложен особый том, посвященный подробному жизнеописанию и

характеристике мировоззрения юбиляра. Правительство присвоило также имя Потебни одному из высших учебных заведений Харькова [4]). Таким образом, великий ученый лишь через 30 лет после смерти дождался общественного и оффициального признания своих заслуг. И, чествуя его память, мы можем теперь поздравить себя как бы с великим новорожденным в области русской духовной культуры.

Познакомимся же с ним ближе, так как он теперь—наше общее достояние.

ГЛАВА II. ПОТЕБНЯ НА ФОНЕ РУССКОЙ НАУКИ 60—80 годов.

Внешняя биография Потебни может быть передана в немногих словах. По происхождению мелкопоместный дворянин Роменского уезда Харьковской губ., Александр Афанасьевич Потебня родился 10 сент. 1836 г. Учился он, однако, в Польше, в г. Радоме, в классической гимназии, а затем в Харьковском университете, в который поступил 16 лет. По окончании курса в нем по историко-филологическому факультету в 1856 году, он некоторое время занимался преподаванием в харьковских средне-учебных заведениях и в университете, куда в 1860 году успел представить магистерскую диссертацию. В 1862 г.

Потебня получил двухгодичную научную командировку заграницу, но пробыл в ней лишь год, впрочем, отлично использованный, и окончательно обосновался преподавателем при Харьковском университете, где с 1875 года получил кафедру истории русского языка и литературы, которую занимал до конца жизни. В последние годы он страдал от недомоганий, которые не позволили ему довести до конца задуманную работу по «Истории русской мысли под освещением русского слова», как метко назвал главный труд Потебни его ученик В. И. Харциев. Скончался Потебня 29 ноября ст. ст. 1891 года [5]). Таковы скромные рамки этой содержательной жизни. Первое и весьма выгодное представление о ней может нам дать сопоставление деятельности Потебни с общим характером русской науки 60-—80 годов, к которым относится эта деятельность. Тридцать лет, заключенные в этих границах, в истории русской науки делятся на два «периода». Первый охватывает 60-е годы и первую половину 70-х. Второй обнимает конец семидесятых и 80-е годы.

Эпоха 60—70-х годов отличается в истории нашей науки следующими яркими особенностями. Во первых, русские ученые смело берутся за вопросы многооб'емлющие, широкие и основные для соответствующих наук. Вот несколько пояснительных при-

меров этого: я возьму их из области естественных и гуманитарных наук. Русская химия 60—70 годов имеет в своих рядах таких крупных ученых, как Бутлеров, Менделеев и Меншуткин, которые, задавая тон своим ученикам, трудятся в области основных вопросов химии, разрабатывают решающие проблемы этой науки. Бутлеров создает и дает применение стереохимической теории органических соединений и тем подводит фундамент под здание органической химии. В этой же плоскости работает и Меншуткин, исследования которого, особенно относящиеся к явлению изомерии, носят столь же основной характер. Его синтетическое руководство по аналитической химии, ставшее классическим у нас и на Западе, тоже обнаруживает в нем ученого, склонного к занятию важнейшими и самыми общими проблемами своей науки. О том же говорит и его очерк истории химии и прекрасная книга о Ломоносове. К концу 60-х и началу 70-х годов относится и расцвет деятельности Менделеева, выступившего со своей знаменитой периодической системой элементов и с всемирно известными «Основами химии». В русской геологии этого времени блещут имена Вл. Ковалевского и Кропоткина. Исследования первого, относящиеся к исторической геологии и палеонтологии, касаются основных

вопросов этих наук. «Он один из первых среди палеонтологов принял эволюционную теорию и направил палеонтологическую мысль на путь детального сравнительно-анатомического изучения различных типов организации, в целях восстановления естественных генетических отношений. Поэтому он по справедливости считается основателем эволюционного направления в палеонтологии» [6]. Известное «Исследование о ледниковом периоде» Кропоткина тоже касается одного из основных вопросов исторической геологии. В области биологических наук период 60—70 годов отмечен трудами Сеченова, Ценковского, А-ра Ковалевского и др. В знаменитой книге о рефлексах головного мозга Сеченов заложил основы современной нервной физиологии. Ценковский занимался изучением такого принципиального вопроса, как простейшая жизненная организация (открытие пресноводной монеры vampyrella, в 1865 г.) и не менее кардинальной проблемой об отношении между животными и растительными организмами. А-р Ковалевский поставил во всю глубину и ширину принципиальный вопрос об единстве эмбриологического плана позвоночных и беспозвоночных и разрешал его в ряде знаменитых исследований, начиная с ланцетика и асцидии. Тимирязев и Фаминцын являлись в рассматриваемый период

руководящими силами среди русских ботаников. Первый из них произвел в это время свои знаменитые работы, выяснившие процесс усвоения углерода растениями и роль хлорофилла—вопросы основные, так как их решение бросает яркий свет на границу, отделяющую растения как от животных, так и от неодушевленных тел. В своих работах 60—70 годов Фаминцын поставил и пытался решить основной не только для ботаники, но и для биологии, вообще, вопрос о роли явления симбиоза в морфологии и развитии организмов. Перейдем теперь к наукам гуманитарным. Принято думать, что в 60—70 г.г. они были у нас в загоне, — мнение ошибочное. В области этих наук трудится с великим рвением и успехом много крупнейших ученых. Начнем с социологии. В этой области достаточно назвать только двоих виднейших исследователей — Михайловского и Лаврова. Их работы относятся к таким основным вопросам социологии, как теория прогресса, проблема выработки и развития личности, вопрос о выработке и первых шагах критической мысли и т. д. В политической экономии, известные «Примечания» Чернышевского к русскому переводу политической экономии Милля были попыткой не только критики, но и преобразования важнейших экономических понятий. Особенно блестяще были представлены

у нас науки исторические. Например, Стасюлевич занимался вопросами философии истории. Васильевский разрабатывал такой обширный вопрос, как социальное и политическое устройство Греции в эпоху эллинизма. Соколов обсуждал знаменитый «Гомеровский вопрос», доказывая единство великих созданий древне-греческой эпической поэзии. В атмосфере 60—70-х годов работала и блестящая плеяда «русских» историков: Соловьев, Сергеевич, Беляев, Костомаров и др. Необыкновенная широта научной деятельности Соловьева монументально засвидетельствована 29 томами его истории России (1851—1879). Классические исследования Сергеевича разбирают основной вопрос удельно-вечевой истории Руси—проблему «веча и князя», а позже вопрос о земских соборах. Беляев выступил с первым общим очерком социальной истории крестьянства на Руси. Костомаров упорно проводил в своих многочисленных монографиях 60—70 г.г. мысль о роли «народа» в русской исторической жизни, пытаясь наметить этим первый очерк социальной истории России. В истории литературы, 60—70 г.г. выдвинули таких замечательных исследователей с широким кругозором, как Пыпин, Тихонравов, Стороженко, Веселовский и др. Замечательные и колоссальные по захвату труды Пыпина, как вышедшая в 60-х годах история

славянских литератур или появившиеся позже, но написанные в духе 60-х г.г., другие его обширные труды—история русской этнографии и история русской литературы, так и его книги по истории русских общественных движений XIX века,—все это обрисовывает Пыпина, как одного из ярких представителей научного движения 60—70-х годов. Не широкие по внешним рамкам, но основоположные по методу и мастерской разработке историко-литературные сочинения Тихонравова, касающиеся истории «отреченной литературы» и развития русской драмы XVII—XVIII в.в., показывают, что наши ученые не нуждались в широких задачах, чтобы проявить присущую им широту кругозора. Превосходный шекспиролог Стороженко похож в этом на Тихонравова. Еще ярче в этом отношении А-р Веселовский. Хотя его многочисленные труды редко носят заглавия общего характера, но даже в самых специальных и детальных из них Веселовский всегда ставит и решает основные историко-литературные вопросы. Так, в ранней монографии о «Вилле Альберти» на частном материале исследуется вопрос об общеевропейском значении Возрождения. Масса работ по русской народной поэзии, по истории легенд, светских и духовных, и т. д. представляют собою подходы к обоснованию широко понимаемой

теории литературных заимствований, эволюции поэтического творчества вообше и т. д. Русская филологическая наука 60—70-х годов в том же роде. Эпоха открывается колоссальным явлением толкового словаря русских наречий Даля,—трудом, над которым трудолюбивый автор работал десятилетия, чтобы выпустить его именно в 60-х годах, в эту эпоху широких предприятий. Затем мы встречаем Колосова с его широко задуманной историей русского языка XI—XVI в.в., Ламанского и Григоровича, славистов с широкими задачами, и др. Не буду приводить больше примеров. И сообщенных достаточно для иллюстрации мысли, что существенною особенностью научного движения 60—70-х годов является широта задач, какие ставили себе ученые этого времени, нисколько, впрочем, не жертвуя этой широте подробностью и глубиной разработки соответствующих вопросов.—Вторая заметная особенность науки того времени состоит в творческой синтетичности, которую проявляет мышление ученых 60—70-х г.г. Широкие и основные вопросы науки допускают разную постановку. Бывают времена, когда эта широта находит себе выражение в подведении итогов, в более или менее систематическом упорядочении известного, изученного уже материала. Но бывают и другие эпохи, когда научное мышление стремится про-

явить свою широту в открытии новых обширных перспектив, в создании новых точек зрения, не только об'единяющих известные ранее факты, но проливающих на них свет с новых сторон, ставящих перед исследователем невиданные дотоле задачи. Это и есть эпохи творческой синтетичности, и наши 60—70-ые годы были из числа таких эпох. Возьмем для примера хотя бы периодическую систему элементов Менделеева. В ней известные в его время элементы не просто сопоставлены в легко обозримом порядке; они расположены так, что между ними открываются совершенно новые связи и отношения, заставляющие химика с новых точек зрения обратиться к изучению уже знакомых элементов и искать, в соответствии с системой, элементы новые. Система Менделеева не только ответ, но и чудесно формулированный вопрос, не позволяющий мысли почить на лаврах, а побуждающий ее к новым достижениям. В том же роде и исследования В. Ковалевского по эволюции ископаемых млекопитающих и, в частности, копытных. Они открывают собою эпоху в палеонтологии, и хотя преемники Ковалевского в России и на Западе или в Америке во многом с ним расходятся, они получили от него определяющий толчок и стоят на почве его метода, который они научились применять лучше

его творца. Или вот работы Тимирязева об усвоении растениями углерода: в них не только итог известных до него и им подмеченных фактов, но обширные перспективы исследования, которым тотчас же занялись его преемники, следуя его физико-химическому методу. То же и в области гуманитарных наук. Например, колоссальный исторический труд Соловьева не был только сводкой и обработкой важнейших фактов русской истории,—это был синтез, наметивший новые вопросы и задачи, от которых затем и отправлялись у нас ученики Соловьева и даже ученики его учеников.

Такова достопамятная эпоха 60—70-х г.г. в истории русской науки. Отбросим теперь силуэт научной деятельности Потебни 60—70 г.г. на этот величественный фон: мы увидим, что даже на этом фоне Потебня не только не теряет, но еще выигрывает. Мы находим прежде всего, что Потебня обладал обеими существенными особенностями рассмотренного периода. Как большинство крупных русских ученых того времени, Потебня проявлял явную склонность к постановке основных, принципиальных вопросов науки. Даже в своих на вид очень «узких» работах он всегда имеет их в виду. Но, конечно, еще определеннее сказалось это в двух главных его сочинениях 60—70-х годов. Из них монография «Мысль и язык» была напечатана

в 1862 году, книга «Из записок по русской грамматике», т. I, в 1874 году. Первое сочинение имело в первом издании всего 191 страницу, но задача, которую поставил себе в нем Потебня, даже шире ее заглавия, и так, кажется, достаточно широкого. Потебня не только рассматривает здесь общий вопрос об отношении языка к мысли. Он не только набрасывает в нем первый очерк эволюции грамматических форм языка в связи с эволюцией форм познания, – он дает гораздо больше: психологию художественного и научного мышления, основанную на психологии отношений языка и мысли. И хотя далеко не все здесь оригинально, однако, не все и заимствовано. Собственная мысль Потебни обнаруживается тут самостоятельно—и в манере изложения, и в приемах исследования, и во множестве оригинальных наблюдений и выводов. И во всем этом сказывается мастер, широта задачи не вредит стройности и строгости мышления,—видно, что Потебне легко дышится на вершинах последних, наиобщих принципов научного познания. Не менее широкую задачу поставил себе Потебня во втором из названных сочинений—в отталкивающих на вид «Записках по русской грамматике». Эти «Записки»—одна из замечательнейших научных книг. Потебня занимается здесь только исследованием. Общие замечания

и пояснения встречаются не часто и отличаются лаконичностью. Мысль ученого сосредоточена на массе фактов из истории русского и некоторых славянских языков. Он старается свести их воедино, расположить их огромную массу в легко обозримый порядок и придать им смысл единством охватывающей их теории. Он заставляет их выдать ему тайну эволюции предложения, а значит—эволюции основного приема человеческого мышления, языка. И он так занят этим, что совершенно забывает о нас, читателях, и роняет мысли как бы лишь для себя, отмечая ими пульс собственной работы. Но эти мысли касаются глубоко важной проблемы о том, как, откуда и куда идет человеческое мышление в своих познавательных стремлениях, с каких точек зрения, вырабатываемых коллективным опытом, оно смотрит последовательно на мир, и к чему это обязывает мыслящего человека в настоящем и будущем. И в этом своем сочинении Потебня стоит на уровне русской науки того времени, так блистательно проявлявшей себя постановкою и удачными попытками решения задач широких и прицципиальных. Разделяет он и другую особенность этой науки—ее склонность к синтетичности, ее способность об'единять факты так, чтобы открывать этим новые факты и ставить перед исследователями новые глубокие

задачи. В «Мысли и языке» Потебня, следуя В. Гумбольдту, высказал замечательную мысль о том, что «поэзия» и «проза», исскуство и наука суть «явления языка». Это обобщение, связывающее воедино язык, искусство и науку, нуждается, конечно, в серьезной проверке. Оно ставит перед исследованием задачу пересмотреть с новой точки зрения все относящиеся сюда факты, оно, далее, бросает свет на вопрос о художественных элементах науки и о научных элементах искусства, побуждая к пристальному обследованию этого вопроса в подробностях, по намеченному Потебнею пути. В частности, в области эстетики названное сочинение вносит новую точку зрения на проблему символического искусства и заставляет предвидеть глубокую и тесную связь между «реальным» искусством и «символическим». Короче, в маленькой книге Потебни дан глубокий синтез, ставящий перед научной мыслью чарующие перспективы новых задач и успехов. И сам Потебня, и его ученики и последователи, вплоть до наших дней, еше не исчерпали этих задач, еше не успели довести до конца их разработку,— так велик сообщенный Потебнею толчек. Такого же характера научный синтез, данный им в «Записках по русской грамматике». Он указал здесь на основное направление эволюции языка и мышления,

но обследовал его только на материале русского, некоторых славянских и литовского языков. Перед современными исследователями стоит очередная задача изучить с точки зрения Потебни эволюцию прочих языков. Другая задача открывается в пределах собственных исследований Потебни. Рассмотрев на собранном им материале эволюцию предложения, Потебня пришел к заключению, что в этой эволюции развивается не только порядок и характер сочетания основных форм речи-мысли, но и самые эти формы, т. е. «части речи», как существительное, прилагательное, глагол и пр. И развитие это должно итти в определенном направлении. Потебня лично не мало потрудился впоследствии над резрешением конкретной истории частей речи [7]), но эта задача, как и вышеуказанная об эволюции предложения во всех языках, и сейчас еще является очередною в науке. И здесь Потебня сообщил научному развитию толчек, с последствиями которого еще долго будут считаться.

Сказанное подтверждает тесную связь Потебни с основными особенностями русского научного движения 60—70-х годов. Но у него есть и ряд таких черт, которые ставят его на целую голову выше подавляющего большинства его ученых современников. Прежде всего, весьма немногие

из них могут сравниться с Потебнею в отношении необыкновенной тщательности и основательности научной работы. Широкие обобщения и теории большинства из них, сыграв свою роль первого толчка, не выдерживали в целом последующего испытания. Преемники большинства ученых 60—70 годов довольно скоро убеждались, что их воззрения нуждаются в разных поправках, дополнениях и изменениях, и редко взгляды их проходили невредимыми через испытание относительно близкого времени. Например, исследования Вл. Ковалевского об эволюции млекопитающих и, в частности, копытных, в свое время бросившие свет на многие факты и давшие толчок к дальнейшим изысканиям, впоследствии оказались ошибочными по своим заключениям, и лишь метод Ковалевского, которым его преемники научились пользоваться лучше его, сохранил свое значение и до сих пор. Превосходные работы Сергеевича, в которых он проводил мысль об исторической аналогии между развитием России и западно-европейских государств, сохраняют свое значение и теперь, но далеко не в том виде, какой был придан указанной мысли автором «Князя и веча». Были, впрочем, и исключения, напр. периодическая система Менделеева вошла в обиход последующей мысли лишь с незначительными поправками и дополнениями.

Ледниковые исследования Кропоткина и до сих пор лежат в основе геологии Европейской России четвертичного периода. В последнем роде—и исследования Потебни, относящиееся к 60—70 годам. В европейской психологии и теории познания конца XIX-го и начала XX-го века вопросами о строении мышления и об отношении его к языку занимались много и усердно. Однако, мы и по сие время не найдем в этих исследованиях ничего такого, что меняло бы в существенном итоги «Мысли и языка». Мы можем многое *прибавить* к сказанному здесь Потебнею, но ядра его мыслей, именно теории о том, что слово-мысль состоит из звуковой формы, из представления и того значения, которое символизируется, изображается этим представлением, — этой теории нет надобности оставлять и в наше время. Точно так же мы едва ли сочтем *достаточным* взгляд Потебни на искусство и науку, как на явления языка, но у нас нет никаких оснований отказываться от него, потому что, не будучи достаточным, он все еще представляется теперь *необходимым*. Еще, повидимому, тщательнее и основательнее работа, произведенная Потебнею в «Записках по русской грамматике», где она, вдобавок, и оригинальнее. С 1874 года прошло уже полвека, но никто еще не пошатнул выводов, к которым Потебня пришел в этом сочинении.

Больше того: никто еще не осмелился пройти вторично по всему пути, проделанному здесь Потебнею. Точно в густом тропическом лесу, он прорубил здесь широкую просеку через весь лес. Но, пользуясь этой просекой, преемники Потебни еще не пытались убедиться, по кратчайшему ли направлению она проведена. И редко у кого хватает сил и знаний повести от нее боковые просеки в других направлениях. Конечно, возможно, что со временем взгляды Потебни на эволюцию предложения окажутся неверными или не вполне точными. Но тогда как для многих ученых современников Потебни это время уже наступило, для его работ оно еще не настало. Другая характерная особенность Потебни, опять-таки выгодно выделяющая его фигуру на фоне большинства русских современников, состоит в его поразительном уменьи оперировать колоссальными массами фактов. Великие ученые вообще похожи в этом на великих полководцев. Наполеон или Мольтке побеждали на полях сражений не только количеством сил, которыми они распоряжались, но и замечательным искусством управлять их сложными маневрами. Откройте «Записки по русской грамматике»—и вас поразит подавляющее число фактов, привлеченных к рассмотрению Потебнею. Читая книгу, почти гибнешь под их массами. А Потебня

не чувствует никаких затруднений. Он сортирует их, выстраивает, относит то к одной, то к другой из своих мыслей, и все это не толчется перед ним, все несет известные функции, все говорит ему что-то. По этому изумительному уменью собрать и до конца использовать фаланги фактов, Потебня почти не имеет себе равных среди своих русских современников 60—70 г.г. Больше всего похожи на него в этом отношении лишь такие среди них, как Менделеев, А-р Ковалевский, Соловьев, Сергеевич и А-р Веселовский. Но от некоторых из них Потебня отличается своеобразной привычкой как бы разбивать врага только в решительном сражении. Напр. А-р Ковалевский развивал свою замечательную мысль об эмбриогенетической связи бесповоночных и позвоночных в серии специальных исследований о ланцетике, об асцидиях, голотуриях, червях и т. д. Таков и А-р Веселовский, таков, до известной степени, и Сергеевич. Они стремятся бить врага по частям, вместо того, чтобы давать ему решительное сражение, застав его со сосредоточенными силами. Соловьев со своими колоссальным замыслом истории России и со своими 29 томами, посвященными ей, напоминал бы в рассматриваемом отношении Потебню, если бы его «История» отличалась такою же тщательною разработкой, как и «Записки» Потебни.

«Основы химии» Менделеева тоже поражают сосредоточенною энергией в распоряжении бесчисленными фактами. Но большинство этих фактов было известно до Менделеева, и первые попытки их группировки были сделаны до появления его труда. Тогда как Потебня должен был первый и собрать многочисленные факты, и дать им стройную теоретическую организацию и истолкование. В этом отношении он напоминает Дарвина, который десятки лет подбирал материалы для доказательства изменчивости видов и сумел представить их в своих сочинениях в стройно организованном виде. Наконец, последняя особенность творчества Потебни в эпоху 60—70-х годов состоит в присущем ему и проникающем его главные сочинения философском духе и дисциплине. Его «Мысль и язык» не только психологическо-лингвистическое, но и глубокомысленное философское создание, в котором дана постановка и намечено своеобразное решение философского вопроса об участии слова в образовании последовательного ряда систем, обнимающих отношения личности к природе. Потебня считал, что на этот вопрос должна ответить история языка, некоторые вехи которой он лишь наметил в «Мысли и языке», чтобы заняться этим вопросом вплотную в другом своем сочинении—«Из записок

по русской грамматике». В нем вопрос решен именно на почве истории языка, причем Потебня не только указал, как менялись в плоскости языка «отношения личности к природе», но и как они должны складываться в настоящее время и в ближайшем будущем. Разрешая эту, по существу философскую, задачу средствами эмпирической науки, Потебня проявил превосходную философскую выучку мысли, уменье удержаться в границах познаваемого, мудрую осторожность и в то же время смелость при обсуждении вопросов, близких к этим границам. С Потебнею можно не соглашаться по существу, но невозможно упрекнуть его в интеллектуальной некорректности, в лапидарности и грубой размашистости мысли, в недостатке той «ясности и отчетливости», величина которой в познании прямо пропорциональна философской воспитанности мыслителя. Во всем этом—и в уменьи ставить основные вопросы науки в глубоко-философском духе, и в замечательной дисциплинированности мышления — мало кто из наших ученых 60—70 г.г. может сравняться с Потебнею. К философствованию, правда, склонны были некоторые из них, как Менделеев, Бутлеров, Сеченов, Тимирязев и др. Но ни у кого из них не было столь отшлифованного, закаленного философского ума, какой мы видим у Потебни. У одних, как

Бутлеров, философские интересы не стояли в органической связи с интересами и задачами ученого, и Бутлеров-химик не имеет ничего общего с Бутлеровым-спиритом. У других, как Лавров, солидные философские знания и воспитанность не могли сказаться в области науки, потому что Лавров не сходил с своих философских вершин в самую гущу конкретной разработки науки. Какая разница между занятиями Лаврова историей мысли и аналогичными занятиями Потебни! В то время, как последний, руководясь определенными философскими принципами, углубился в детальное изучение и исследование фактов по первоисточникам, в чем и сказывается повадка заправского ученого, Лавров писал историю физико-математических наук, в которой работа над первоисточниками заменена по большей части работой над наличной литературой о них; а еще позже Лавров приступает к своей сводной же «Истории мысли», в которой опять сказывается больше философ, систематизирующий итоги готовой научной работы, чем ученый, добывающий их на путях эмпирического исследования. Были в эпоху 60—70 г.г. и ученые, тесно сливавшие философские задания с научными исследованиями. Таков, напр., Тимирязев. Но это было редкое явление.

Итак, накладывая творческую индиви-

дуальность Потебни в эпоху 60—70 г.г. на фон русской науки его времени, мы убеждаемся, что, плоть от плоти ее по своей склонности к широким заданиям и по творческой синтетичности мышления, Потебня высоко поднимается над ее общим, и без того достаточно приподнятым, уровнем — по необыкновенной тщательности научной работы, по изумительной способности обрабатывать и стройно утилизировать огромные массы сырого материала и по выдающейся выдержке и философской воспитанности ума.

Со всеми этими качествами Потебня вступил в следующую полосу нашего научного развития, обнимающую вторую половину 70-х и 80-ые годы. Рассмотрим теперь вкратце характер этого периода, чтобы затем сопоставить с ними научную деятельность Потебни в те же годы.

Русская наука 70—80-х годов, конечно, органически выросла из науки предшествующего периода. Но именно потому она представляет, по сравнению с ним, значительное своеобразие. Вместо ряда крупных ученых, работавших в 60—70 г.г., больше в одиночку, над созданием новых точек зрения или даже новых наук, на сцене 70—80-х годов видим дружные семьи довольно многочисленнных специалистов, группирующихся около ветеранов предшествующего периода и вместе с ними раз-

рабатывающих подробно, всесторонне и с большою напряженностью очередные вопросы науки, по большей части в постановке, предрешенной предыдущими завоеваниями знания. Именно в эти годы у нас впервые появилось то, что называют «научными школами». В химии, напр., были «школы» Бутлерова и Менделеева, в зоологии—А-ра Ковалевского и Мечникова, в геологии—Докучаева, в истории—Соловьева, в истории литературы—А-ра Веселовского, и т. д. Да и в тех случаях, когда ученые не образуют школ, они охотно и дружно сотрудничают в сложных и подробных коллективных исследованиях. Например, с основанием в начале 80-х годов русского Геологического Комитета, почти все русские геологи и палеонтологи об'единились около этого учреждения на почве разработки геологической карты Европейской России. Вагнер создал аналогичный об'единяющий центр учреждением в 1887 году первой русской геологической станции на Соловецких островах, а Коротнев, несколько позже,—основанием такой же станции в Виллафранке. Русская земская статистика тоже разрабатывается коллективно - организованными усилиями массы сотрудников во главе с Чупровым, Орловым, Покровским и др. Наряду со всем этим, даже и самые крупные ученые 70—80-х годов почти перестали проявлять

тот широкий творческий размах, каким они сами или их предшественники отличались в предшествующую эпоху. Напр., Менделеев, бывший в это время в полном расцвете сил, посвятил себя разработке разных важных, но все же относительно частных вопросов химии растворов, и лишь изредка возвращался к общим и основным вопросам химии. А-р Ковалевский продолжал исследования в области эмбриологии и сравнительной анатомии беспозвоночных, в которых он стоял на почве основных взглядов, высказанных им в 60-х годах. Затем, в связи с фагоцитарной теорией Мечникова, он занялся фагоцитозом у беспозвоночных. И хотя в обеих упомянутых областях Ковалевский сделал важные открытия, однако, они были все же в готовом русле текущей научной работы и новых обширных перспектив для науки не открыли. Любопытно, что даже ученые, занимавшиеся в 80-ые годы общими вопросами науки, как-то не то воздерживались, не то не успевали опубликовать такие работы в эти годы. Например, Пыпин работал в это время над своей монументальной «Историей русской этнографии», но она вышла в свет лишь в 90-ые годы. А в течение 80-х годов он печатал разные специальные монографии о старинной русской книге, о старообрядческом синодике и т. п. Мечников, создавший в те же

80-ые годы свою фагоцитарную теорию воспаления, опубликовал ее в связи с некоторыми весьма специальными исследованиями, и только в 1892 году вышли его «Лекции о сравнительной патологии воспаления». Ключевский разрабатывал в своем знаменитом университетском курсе цельный, стройный и во многом столь оригинальный взгляд на ход русской истории; но эти лекции в печать не проникали. И только в специальных исследованиях московского историка о боярской думе, о происхождении крепостного права, о составе представительства на земских соборах и т. п.—можно найти отражения общих взглядов Ключевского.

Научная деятельность Потебни в период 70—80 г.г. до некоторой степени воспроизводит особенности научного движения эпохи. Около Потебни, мало по малу, начинают группироваться молодые ученые. Впрочем, самый выдающийся из них, Попов, рано умер. Любопытно, однако, что между учителем и учениками при этом сохраняется все же дистанция почтенного размера. Что-то мешает им подняться вполне на ту высоту, где работал учитель. Напр. Б. М. Ляпунов, одно время бывший слушателем Потебни, и о котором последний был того мнения, что «из него будет прок» [8]), хотя и оправдал впоследствии это предсказание, но не в той плоскости, где

в нем мог бы сказаться вполне бывший ученик Потебни, т. е. ученый, филологическая работа которого насквозь проникнута глубоким психологическим и философским интересом. Лишь в Д. Н. Овсянико-Куликовском, А. Г. Горнфельде и некоторых других ученых Потебня приобрел сторонников, вполне проникшихся его идеями. Но эта «школа Потебни» начала складываться лишь по его смерти, в 90-е и в 900-ые годы. Лично Потебня в 70—80-ые годы, как и большинство крупных ученых этого времени, в значительной степени жил основными идеями, выработанными в 60—70-ые годы. Он, например, занимался поэтикой в духе «Мысли и языка», хотя, конечно, и развивал дальше взгляды, высказанные им в этой ранней книге. Он работал также над третьей частью «Из записок по русской грамматике», задача которой, изучение образования и развития существительных и прилагательных, была поставлена и отчасти предрешена в начале 70-х годов. Потебня жил не одним принципиальным наследием 60—70-х годов. Он старался его умножить и не только в плоскости специальной работы, но и в области принципов, широких и основных обобщений. В этом отношении особенно замечательны два главные сочинения Потебни 80-х годов. Одно из них— «Об'яснения малорусских и сродных на-

родных песен»,—2 тома—он успел выпустить лично (1882—1887). Второе, составившее третью часть «Из записок по русской грамматике», было им вчерне закончено, но отпечатано лишь по его смерти—его учениками (1899). В первом из них Потебня высказал и попробовал обосновать на обширном песенном материале оригинальную историко-литературную точку зрения. Исходя из представления о том, что художественный образ есть органическая форма мысли, которая в нем живет и преемственно развивается, Потебня предложил положить в основу истории словесности исследование эволюции тех образов, в какие облекается мысль исторически. Эта интересная идея, приводящая к необходимости перестроить всю историю не только литературы, но и вообще искусства, обладает широтою размаха, в общем чуждой русским ученым 80-х годов. Не менее интересна в этом отношении третья часть «Из записок по русской грамматике». Здесь изложена замечательная теория Потебни об эволюции существительного и прилагательного из первобытного причастия, при чем всюду в ней проводится основная мысль «об устранении в мышлении субстанций, ставших мнимыми, или «о борьбе мифического мышления с относительно научным в области грамматических категорий». В основании—пояснял

эту задачу Потебня—лежит мысль, впрочем, не новая, что философские обобщения таких-то по имени ученых основаны на философской работе безымянных мыслителей, совершающейся в языке; что, напр., математика, оперирующая с отвлеченным числом, отвлеченною величиной, возможна лишь тогда, когда язык перестает ежеминутно навязывать мысль о субстанциональности, вещественности числа, а в противном случае величайший математик и философ, как Пифагор, должен будет остаться на этой субстанциональности»[9]). Кроме этой основной задачи, глубина и захват которой не нуждается в пояснениях, в книге рассматривается, в связи с эволюцией имен, еще один глубоко принципиальный вопрос—о психологическом смысле и эволюции «рода», как грамматической формы. Потебня рассматривает «род», как неизбежную форму познавательной классификации вещей, и по поводу неумирающего значения родовой функции возбуждает важный вопрос, насколько современное мышление, действительно, свободно от мифологичности и антропоморфизма.

Итак, обзор главных стадий научной деятельности Потебни, в связи с развитием русской науки 60—80-х годов, показывает нам, что он во многих отношениях стоял не только в первых рядах ученых этого

времени, но многих из них превосходил совмещением в себе ценнейших особенностей ученого и мыслителя. Без сомнения, он обладал в этом отношении наивысшею одаренностью, гениальностью. И мы теперь попытаемся познакомиться поближе с этой гениальной натурою. Мы сделаем это в два приема, двумя путями. Во первых, мы попытаемся заглянуть за кулисы деятельности Потебни,—туда, где скрывается механизм его творчества. Это вопрос о психологии творчества Потебни. Затем мы бросим взгляд на то, как именно, в чем, в каких систематических завоеваниях мысли проявилось это творчество. Это вопрос о главных результатах его творчества.

ГЛАВА III. ЛИЧНОСТЬ ПОТЕБНИ.

Господствующей чертою духовного облика Потебни является своеобразное совмещение в нем черт, повидимому, противоположных до непримиримости.

Зная его, как глубокомысленного ученого, целиком посвятившего жизнь свою науке, мы ожидаем встретить в нем ту сосредоточенную серьезность, ту торжественную важность, которая составляет необходимое выражение интенсивной духовной работы. И когда один из его бывших учеников, проф. Халанский, заме-

тил, вспоминая о нем: «Всегда строгий к себе и другим, редко улыбавшийся, всегда сосредоточенный — он внешним своим видом внушал почтение. Мы не знали за Потебней отклонений от правил законности, честности, правды и добра, и он казался нам олицетворением идеала в действительности»[10]) — когда мы узнаем об этом, мы нисколько не удивлены: так оно и должно быть. Но становится немного холодно, когда созерцаешь человека на альпийских высях идеала. И вдруг чувствуешь, что повеяло чем-то «нашим», человеческим, не столь серьезным, сколь наивным, теплым, интимным. Поясняя свою теорию поэзии, как образного ответа на познавательный вопрос, Потебня любил приводить для иллюстрации ее пример ребенка, который, увидев впервые шарообразный абажур, назвал его «арбузиком»[11]). Или, обсуждая вопрос о психологии метонимического мышления, он опять приводит пример ребенка: «Мне удалось заметить возникновение ясной метонимии в умном 4-5 летнем ребенке, и я тут же записал: Алеше понравилось в гостях, ему жаль было уезжать из Харькова, и он сказал: «*бедный* Харьков!» — таким образом «в его выражении сказалась первообразная способность познавать себя лишь в (суб'ективной) окраске мыслимых вещей»[12]). Этот Алеша, как и автор аба-

жура-арбузика, выхваченные из детской жизни со всей ее непосредственностью, бросают на строгого и сурового ученого ласковый свет, всегда лучащийся из детских глаз. Видно, что дети не были для него предметом холодного наблюдения, и он сочувственно переносился душою в их милый мир. Для этого нужно иметь в душе хотя бы уголок «вечно-детского», и у Потебни он был, мягко освещая его глубоко-серьезный облик. Таков один из тех контрастов, которыми была так богата эта удивительная душа.

Другой гораздо резче: «В этом человеке, — опять вспоминает проф. Халанский,—с виду сухом, холодном, и подчас резком, билось нежное и любящее сердце. Для его слушателей всегда была открыта дверь его дома. Студентам он никогда не отказывал в своей нравственной помощи. Тяжело больных студентов-бедняков, нуждавшихся в особой помощи, Потебня посещал на квартире, делая это так, что об этом знали немногие... Кому из бывших его слушателей случалось приезжать в Харьков, тот считал нравственною потребностью побывать у него, поделиться с ним своим горем и радостью, освежиться в беседе с ним. И к ним покойный относился замечательно тепло, с сердечным отеческим участием к их нуждам. радости и горю. Расспросам, раз-

говорам конца не было; субботние вечера в доме покойного затягивались далеко за полночь» [13]). В спорах он умел отвергать чужую мысль «неограниченно, резко, непреклонно—и в то же время так мягко и деликатно, как будто затрогивается душевная жизнь самого близкого человека» (из воспоминаний А. Г. Горнфельда) [14]). Нужно обладать широко раскрытой душою, большим даром сочувственного понимания, чтобы проявлять эти сокровища душевной чуткости и гуманности. Но в этой душе всегда жили и держались настороже и задатки противоположного отношения к людям, начиная от мягкого безобидного юмора и кончая беспощадным сарказмом и негодованием. В его лекциях по психологии поэтического мышления встречается следующая забавная пародия, повидимому собственного сочинения. «Государь император соизволил всемилостивейше благодарить Георгиевских кавалеров за молодецкую службу.—Министр юстиции изволил благодарить чинов судебного ведомства за ухарскую службу.—Министр народного просвещения изволил благодарить профессоров университета за лихое чтение лекций и студентов за залихватское их посещение.—Архиерей- настоятеля N ой церкви за бравое и хватское исполнение обязанностей» [15]). Это пока лишь шутка, но она легко переходила у Потебни в

насмешливые замечания и определения. «Гипербола,—говорит он, например, есть результат как бы некоторого опьянения чувством, мешающего видеть вещи в их настоящих размерах... Если упомянутое чувство не может увлечь слушателя, то гипербола становится обыкновенным враньем» [16]. Или, касаясь специализации труда в науке, Потебня замечает: «Специализация труда в зрелом возрасте, насколько она увеличивает успешность личной деятельности, единственный путь к возможной универсальности. Говорю *насколько,* потому что «заставь дурака богу молиться» и пр. [17]. Особенно остроумны и злы насмешки Потебни над претенциозными потугами нарочито «научного» мышления. Тут и щелчек по адресу «того ребяческого взгляда, что наука началась с последней прочитанной книжки» [18], и замечание о «философском уме, который над лесом видит, а под носом не видит» [19], и насмешка над «замашкою» «многих ученых» «говорить от имени науки, как будто они, или некто подразумеваемый, у нее по особым поручениям, иногда вступаться за ее честь, как будто она им тетка, или сестра, или другая близкая особа слабого пола» [20] и, наконец, выпад по адресу привычки некоторых «уверять себя и других, что общеобязательность, кафоличность у нас в кармане» [21].

Оружием саркастической насмешки Потебня умел пользоваться иногда и как тонко отточенным научным аргументом. Приводя известное мнение Белинского о всечеловечности Пушкина, о том, что он умел проникаться психологией разных времен и народов, Потебня не удостаивает его серьезного разбора, а только замечает: «На это можно сказать: «Сладки гусиные лапки»! — «А ты их едал?» — «Видал, как дядя едал» [22]). Все обостряясь, эта сатирическая стихия в душе Потебни способна была подниматься до пафоса негодования. Говоря, напр., о распространенной моде обучать детей иностранным языкам «чуть не с пеленок», он разрешается гневной филиппикой по адресу родителей, которые, «как во времена «Недоросля», поручают детей Вральманам. Так из детей с порядочными способностями делаются полуидиоты, живые памятники бессмыслия и душевного холопства родителей» [23]). «Сам не отступавший от своих высоких идеалов,— вспоминает о подобных эпизодах проф. Халанский,— Потебня беспощадным словом меткого и сурового обличения мужественно казнил других за отступления от идеалов правды и добра. Владея богатейшим запасом слов и выражений русского народного языка, Потебня одним метким словом, кстати сказанной пословицей, мог, как говорится, уничтожить человека» [24]).

Специально в области научного мышления Потебни контрастные переживания проявлялись в любопытном сочетании любви к наивысшим обобщениям научной мысли с величайшим, доходившим до крайности, пристрастием к единичным фактам. Нет надобности иллюстрировать особыми примерами ту любовь к обобшениям у Потебни, создавшего столько всеоб'емлющих теорий. Но стоит пояснить редкостное ее сочетание с культом конкретной единичности. В своем пристрастии к фактам Потебня доходил до сомнения в том, напр., что личность человеческая—факт; она—одна из абстракций, «ибо личность, мое *я*, есть тоже обобщение содержания, изменяющегося каждое мгновение» [25]), и реальны только эти содержания. Раскрыв любое исследование Потебни, мы будем поражены, оглушены изобилием превосходно подобранных фактов, которые он приводит, иногда для пояснения одной своей «теоретической» фразы. Каждый свой шаг он обставляет подавляющей массой материалов. То, как он готовился к переводу «Одиссеи» на украинский язык, красноречиво рисует нам, как он подбирал эти материалы. Об этом рассказывает г. Русов на основании знакомства с рукописями Потебни: «Прочитав «Одиссею» в подлиннике и в переводах на разные славянские языки и возобновив таким обра-

зом в памяти те предметы, образы, положения, действия и пр. и аттрибуты их, какие можно было выразить в переводе, профессор принялся за чтение образцов народной словесности и классических малорусских писателей, известных ему также очень хорошо. В особой пачке бумаг мы находим сделанные им выборки слов, выражений, речений, какие могли бы понадобиться ему при передаче встречающихся в «Одиссее» названий предметов, действий, эпитетов, определений, характеристик и т. п. Эти выписки лексического материала с указанием на страницы книг, употребляемых для этой цели профессором, показывают, что он пересмотрел Геродота, летописи Ипатьевскую, Самовидца, многие акты, изданные Археографическими комиссиями, сборники песен и пословиц Чубинского, Головацкого, Метлинского, Номиса, Кольбера, Романова, материалы, изданные в «Записках о Южной Руси», в «Основе», сочинения авторов: Котляревского, Квитки, Гулака-Артемовского, Гребинки, Кулиша, Марка-Вовчка, Глебова, Манджуры и др. Выписок из этих книг сделано им более 2500. Они состоят или из отдельных слов, или из поставленных рядом синонимов и омонимов,... или из сложных слов, употреблявшихся в народной поэзии рядом для известного понятия,... или для определения предмета,..,

или, наконец, из целых речений и фраз, оказавшихся почему-либо характерными или пригодными для перевода «Одиссеи» [26])..

К этому контрасту между способностью Потебни к высочайшим обобщениям и его любовью к конкретным единичностям примыкает другой контраст. Его мышление выливалось обычно в отчетливую форму прекрасно выработанных понятий, которые он употреблял со строгим разбором и с мудрою осторожностью. В этом смысле строй его мысли и речи — обычно прозаический, прозрачный, четкий и сдержанный. Есть в нем этот чудесный лаконизм мысли, уверенной в себе и знающей свои пределы, всегда ограниченные. По верному замечанию Овсянико-Куликовского, «Потебня писал вроде того, как пишут математики» [27]), — прибавим: классические, первоклассные математики. Но как строгое лицо приобретает чарующую привлекательность с появлением на нем легкой улыбки, так и мысль Потебни, расцвечиваясь там и сям яркими образами, становилась временами высоко-художественной. Особенною обаятельностью в этом отношении отличалась его устная речь. Многие из слушателей Потебни запомнили, подобно одному из них, А. Г. Горнфельду, этот «изящный, поэтический, рельефный язык учителя» [28]). В печати

Потебня был скупее на поэтические образы и, видимо, старался, по возможности, ограничивать их употребление или наводить мат на их яркую внешность. Но и в этой поэзии под сурдинку чувствуется биение художественно-образной мысли. Вот превосходный образец этой матовой поэтичности: «Наука раздробляет мир, чтобы сызнова сложить его в стройную систему понятий; но эта цель удаляется по мере приближения к ней, система рушится от всякого невошедшего в нее факта, а число фактов не может быть исчерпано. Поэзия предупреждает этим недостижимое аналитическое знание гармонии мира; указывая на эту гармонию конкретными своими образами, не требующими бесконечного множества восприятий, и заменяя единство понятия единством представления, она некоторым образом вознаграждает за несовершенство научной мысли и удовлетворяет врожденной человеку потребности видеть везде цельное и совершенное. Назначение поэзии — не только приготовлять науку, но и временно устраивать и завершать недалеко от земли выведенное ее здание. В этом заключается давно замеченное сходство поэзии и философии. Но философия доступна немногим; тяжеловесный ход ее не внушает доверия чувству недовольства односторонней отрывочностью жизни и слишком мел-

ленно исцеляет происходящие отсюда нравственные страдания. В этих случаях выручает человека искусство, особенно поэзия и первоначально тесно связанная с ней религия [29]). Так велика была у Потебни жажда художественной мысли, что, не довольствуясь ее россыпями в научной прозе, он утолял эту жажду на путях прямого художественного творчества. Потебня достигал этого, прежде всего, искусным «художественным чтением образцов литературы» [30]), которыми он очаровывал слушателей на своих лекциях, а затем,—работая над переводом «Одиссеи» на украинский язык. Этот перевод, замечательный по своим художественным достоинствам, хотя и далеко не доведенный до конца (из 24 песен Потебня успел перевести лишь немногим более 2½), выдерживает к своей выгоде сравнение даже и с классическим у нас переводом Жуковского. Вот место из перевода Жуковского и параллельное из перевода Потебни (Одиссей у феакийцев): [31])

В город направил тем временем путь Одиссей; но Афина
Облаком темным его окружила, чтоб не был замечен
Он никаким из надменных граждан феакийских, который
Мог бы его оскорбить, любопытствуя выведать, кто он.

Но, подошед ко вратам крепкозданным прекрасного града,
Встретил он дочь светлоокую Зевса, богиню Афину,
В виде несущей скудель молодой феакийские девы.
Встретившись с нею, спросил у нее Одиссей богоравный:
— Дочь моя, можешь ли мне указать те палаты, в которых
Ваш обладатель божественный, царь Алкиной, обитает?
Многоиспытанный странник, судьбою сюда издалека
Я заведен; мне никто не знаком здесь, никто из живущих
В городе вашем, никто из людей, обитающих в поле.
Дочь светлоокая Зевса Афина ему отвечала:
— Странник, с великой охотой палаты, которых ты ищешь,
Я укажу; там в соседстве живет мой отец беспорочный;
Следуй за мною в глубоком молчаньи; пойду впереди я;
Ты же на встречных людей не гляди и не делай вопросов
Им; иноземцев не любит народ наш; он с ними не ласков;
Люди радушного здесь гостелюбия вовсе не знают;
Быстрым вверяя себя кораблям, пробегают бесстрашно
Бездну морскую они, отворенную им Посидоном.
Их корабли скоротечны, как легкие крылья их мысли.
Кончив, богиня Афина пошла впереди Одиссея
Быстрым шагом; поспешно пошел Одиссей за богиней.

У Потебни этот отрывок читается так:

Тоді то підвівсь Одиссей, щоб до города йти; Атена ж,

До ёго зичлива, туманом густым его оточила,
Щоб часом який з високоумних Феаків зустривши
Нестав глумитись над ним словами та роду питати.
Коли ж уже мав уступити у город веселий,
То там зустрила ёго ясноока богина Атена,
Дивчиною молодою, з глеком в руках, обернувшись,
Стала вона перед ним, а ясний Одиссей став пытати:
«Дочко, чи непровела б ты мене до домівки мужа
Алкиноя, що тут меж сими людьми панує?
Бо я тут чужий, дознавши й потерпевши чи мало,
Прихожу з далекого краю, тим то не знаю никого
З людей, що держать сей город іниви сі роблять».
К ёмуж промолвила так ясноока Атена:
«Так я ж тоби, гостю, той дом покажу, що ты кажешь,
Бо се недалеко од чесного батька мого домивки.
Тільки ти мовчки іди (а я по переду итиму);
Не поглядай ни на кого і не питайся ні в кого,
Бо тут такі, що недуже чужих людей поважають,
Недуже то люблять витати, як прійде хто з иншого краю.
На кораблі швидки вони лишь вповають, та моря
Пучину на них переходять: так дав їм земли потрясатель:
А кораблі в їх швидки, як птиці крыло або думка».
Так то сказавши, ёго повела Паллада Атена
Спішно, а вин затим пішов по слідах богині...

Бросается в глаза, что перевод Потебни, прежде всего, проще и естественнее, чем перевод Жуковского, который изобилует нарочитыми остатками ломоносовского высокого штиля и тою превыспренностью,

которая и сейчас многими считается признаком классической поэзии. Вместо напыщенного образа «несущей скудель феакийские девы», у Потебни стоит простой образ «дивчины молодой, с глеком (кувшином) в руках». Настроившись на древлий лад, Жуковский переводит: «Люди радушного здесь *гостелюбия* вовсе не знают», — стих, который удовлетворил бы Шишкова. У Потебни просто: «недуже то люблять вітати, як прийде хто з иншого краю». Затем, и это главное, потому что именно в этом сказывается поэтическая индивидуальность, — образы Жуковского как-то расплывчаты, лишены полной рельефности и психологической колоритности. У Потебни они, напротив, точны, выпуклы до скульптурности и стоят в полном соответствии с сущностью изображаемого. Жуковский говорит бледно: «мне никто не знаком здесь, никто из живущих в городе вашем, никто из людей, обитающих в поле». Потебня подчеркивает, что Одиссей различает не просто живущих в городе и в поле, а горожан и тех, кто «ниви сі роблять», т. е. земледельцев: выходит гораздо конкретнее. Беседа между Одиссеем и Афиной во образе девы передана у Жуковского с деланной, фальшивой простотой. Дева вызывается у него показать дом Алкиноя «с великой охотой», прибавляя, что он—вблизи дома ее отца

«беспорочного». Эта «великая охота» похожа на выстрел из пушки по воробью, если подумать, что тут речь о том, чтобы показать страннику дом, который он ищет. А «беспорочный отец» девы— опять образ фальшивый, потому что пустой: мы не соединяем никакого конкретного представления с отрицанием всех пороков, которое выражается словом «беспорочный». У Потебни все это колоритнее и правдивее: дева говорит у него с видимой жалостью к страннику: «так я ж тобі, гостю, той дом покажу, що ты кажешь», и Потебне хочется вложить в эти слова еще больше теплоты, поэтому вместо обращения «гостю», он подбирает варианты: «батьку, паноче». Готовность свою она об'ясняет тем, что дом «чесного батьки мого» возле дома Алкиноя: эпитет «честной» не только в духе народной поэзии, но и полон определенности, которой лишен эпитет, употребленный Жуковским. Еще: корабли феакийцев у Жуковского «скоротечны»,—образ, который нелегко соединить с образом корабля, предмета, неспособного «течь» в современном смысле, а славянское «течь» нами почти позабыто в смысле «двигаться». Потебня называет корабли быстрыми—выражение точное и определенное. Еще характерная подробность: у Жуковского корабли быстры «как легкие крылья»; у Потебни этот образ

выразительнее, конкретнее: «як *птиці* крило». В общем, с некоторым правом можно применить к переводу Потебни то, что сказано в одном письме Л. Н. Толстого о Гомере в подлиннике по сравнению с переводом Жуковского [32]): перевод Потебни похож на ключевую воду с соринками, ломящую зубы, тогда как перевод Жуковского напоминает дистиллированную воду. Впрочем, это говорится не столько в порицание Жуковскому, сколько для характеристики несомненных художественных элементов в даровании Потебни.

Все многочисленные противоречия, присущие Потебне, являются противоречиями лишь на первый, поверхностный взгляд. На самом же деле они обрисовывают на редкость цельную и своеобразную индивидуальность. Вообразим сосуд, заключающий горячий пар. Частицы этого пара стремятся разойтись в разные, диаметрально противоположные, стороны. Но это стремление к контрастным движениям—только выражение об'единенности всех частиц, следствие того, что они содержатся в данном об'еме при одной и той же данной температуре. С повышением этой температуры способность частиц к расходящимся движениям еще более возрастает. Человеческая психика тем богаче контрастными проявлениями, чем напряженнее протекают слагающие ее процессы, чем выше

(до известной степени) душевная температура. Контрасты, которые мы находим у Потебни, говорят нам о мощной душе, о высоком напряжении духовной жизни этого человека. Он горел, он пламенел, сжигая себя яркими вспышками. И это, как сквозь транспарант, просвечивало на его лице, «красивом, благородном, способном выражать оттенки разнообразных чувств», в «живой игре его глаз» [33]), в его речи «живой и увлекательной» [34]), «блиставшей оригинальным умом и богатством продуманных, из первых рук добытых сведений» [35]). Он был и в жизни таким, каким сохранил его в своей памяти А. Г. Горнфельд на кафедре: «С горящими глазами, с задумчивой улыбкой, с волнением человека, говорящего о «самом важном» [36]). Оттого и недолго прожил Потебня в этом непрестанном духовном воспламенении, этой безоглядной трате души. И когда он почувствовал, что силы его иссякают, когда юмористически констатировал в одном письме: «Все плохо. По утрам кое-что ковыряю, как старуха чулок вяжет, при полном отсутствии интереса, спуская петли и роняя спицы» [37])— спасительная смерть избавила его от тоски бездеятельного существования, от стадии, когда мы не живем, а чадим. И он ушел от нас, оставив нам свой образ, полный жизненной трепетности, огня и света.

Люди с такими данными не любят примиряться с тем, что есть. Ведь они сами— воплощенный порыв к изменению наличного, к творческой переработке действительности. Таким был и Потебня не только как ученый, но во всем своем жизнеощущении. Он превосходно выразил это в одной своей «притче», которую находим среди его лекций по теории словесности. «На реке Удах, на песке, когда-то был общественный лес, стоял и шумел, давая тень и убежище зверю и птице, укрывая землю листом. Его срубили, частью сожгли, частью продали и деньги отнесли, для высших целей цивилизации, в кабак и казначейство. Долго еще торчали пни и задерживали на месте тонкий слой лиственного перегноя; но пни выкорчевали, скот истолок землю в пыль, ветер разнес ее, дожди смыли в реку, и теперь там голый песок; не растет ни чебрец, ни полынь, и скот не забродит... Истинно философский ум должен стоять выше сожалений о шуме и тенистой зелени, успокаивая себя тем, что вещество не гибнет, но преобразовывается все в новые и новые формы, и что хотя у мужиков нет леса, а у скотины — пастбища, но где-нибудь около Таганрога мелеет от наносов море, и когда оно совсем обмелеет, там, быть может, выростет лес лучше прежнего. Вера в совершенствование этого мира, лучшего из

миров, потому что он один только нам сколько-нибудь известен, поддерживаемая научными соображениями о возникновении высших форм органической жизни, нужная для успокоения духа, не обязывает закрывать глаза на колебания уровня жизни; и тот философский ум, который не будет жалеть о лесе на Удах, будет ум, который над лесом видит, а под носом не видит. Что было, то было, и не случиться не могло при данных условиях: но вопрос в том, точно ли эти условия всеобщи и неизменны» [38]). Как это далеко от того идеала истинно философского ума, который выставил некогда Спиноза, и который не перестает собирать сторонников и по сие время: «Мудрый, поскольку он рассматривается как таковой, едва волнуется душой, но, сознавая по некоторой вечной необходимости себя, бога и вещи, никогда не перестает существовать, а всегда обладает истинным довольством души» [39]). К такому жизне- и мироощущению Потебня был психологически неспособен именно вследствие своей бившей ключем жизненности, которая всегда чувствует себя лучше не тогда, когда нужно признать и оправдать мир из условий необходимости, а тогда, когда нужно его изменить.

Но как же тогда понять любовь, которую Потебня проявлял к истории, к познанию того, что было и чего изменить

уже нельзя? Вопрос сложный. Потебня, повидимому, разрешал его для себя в оригинальном понимании значения истории: «Ныне,—говорит он,—практическое значение истории состоит не в том, что она учит, как быть, а лишь в том, что она, указывая пройденный путь, избавляет от напрасной траты сил, *предостерегает, что по пройденному пути пройти нельзя»* [40]) (курсив мой). Кроме того, изучение прошлого показывает нам, откуда и куда, в каком направлении идет жизнь. И этим она указывает, «как человеку плыть по... течению» исторической жизни, «заменять личные идеалы более об'ективными, т. е. теми, которым по указанию событий суждено осуществляться в человечестве» [41]). Взгляды эти, глубоко оригинальные и так идущие к духовному образу Потебни, каким мы его знаем, очень напоминают Маркса. У последнего непримиримость с существующей (социальной) действительностью, которая привела его к известному требованию: философы довольно понимали сущее, пора научиться изменять его, — эта непримиримость, как у Потебни, сочеталась с глубоким интересом к истории, и опять-таки и у него отсюда вытекал взгляд, что история, указывая направление «об'ективного» изменения вещей, определяет и нашу суб'ективную роль в процессе этого изменения (Потебня и Маркс вообще во мно-

гом похожи друг на друга в психологическом, а отсюда—и в идейном отношении).

При таком отношении к будущему, Потебня должен был верить в него, потому что знать вполне то, чего еще нет, нельзя. И Потебня был полон такой веры.

Он вообще считал, что «вера одна из непременных сторон человеческой жизни. Она не иссякает, но принимает такие направления, что скрывается из глаз тех, которые ждут ее встретить в заранее определенном месте» [42]). Меняются об'екты веры, но сама она бессмертна: «конца сущему мы не видим и не можем представить себе времени, которое бы обеднело задачами, которому нечего было бы делать». А так как, «занимая незначительную частицу мира, нельзя обнять мыслью всего мира», то при решении этих задач без какой-нибудь веры не обойтись. «Если вера в личного и человекообразного бога перестанет удовлетворять мысль, это верховное начало заменится другим, таким же временным. Одно несомненно: человек с каждым шагом вперед научается более и более различать степени вероятности и оценивать средства своего ума» [43]). Именно постольку он научается не пренебрегать верою, как дополнением к ограниченности ума. Отсюда, в частности, и та «светлая вера в торжество разума, правды и добра, которой сам покойный

был проникнут», по свидетельству одного из его бывших учеников, проф. Халанского [44]).

В этом пункте мы подошли к интимнейшим сторонам души Потебни. Хотелось бы знать, во что именно он верил, и как. К сожалению, в настоящее время этот вопрос и многие другие, не менее интересные (например, о политических взглядах, а главное—действиях Потебни), за отсутствием *достаточно* определенных фактов, не могут быть разрешены. Но когда-нибудь они, вероятно, накопятся, и тогда наше понимание этой натуры обогатится и углубится, может быть, весьма существенно.

ГЛАВА IV. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ПОТЕБНИ.

Обращаясь к их характеристике, заметим, что наше изложение, по необходимости краткое, не позволяет нам входить в подробности. В интересах краткости, придется опустить даже и кое-что существенное.

У всякого ученого есть своя «философия». У одних она безотчетна, у других, более крупных, всегда встречаем попытки уяснить ее себе и другим. Есть такие попытки и у Потебни, и с их лаконичной характеристики мы и начнем. Философские воззрения Потебни складывались под влия-

нием того течения немецкой философии первой половины XIX в., крупнейшими представителями которого были: В. Гумбольдт, Гербарт, Лотце, Лацарус и Штейнталь. Но Потебня заимствовал у них свои идеи с некоторым разбором, так что его нельзя признать прямым последователем кого-либо из названных мыслителей. Не был он и эклектиком, так как его мировоззрение, самостоятельно проработанное под чужими влияниями, отличалось значительной цельностью.

Вот как сам Потебня формулировал основную мысль этого мировоззрения: «Вообще, все то, что мы называем миром, природою, что мы ставим вне себя, как совокупность вещей, действительность, и самое наше *я*, есть сплетение наших душевных процессов, хотя и непроизвольное, а вынужденное чем-то находящимся вне нас. В этом смысле все содержание души может быть названо идеальным. Но в этой всеоб'емлющей идеальности мы различаем низшие и высшие течения: сырые материалы и продукты различной степени сосредоточенности. В тесном смысле только эти сырые материалы, наиболее суб'ективные, наименее выразимые, называем реальными, а мысль идеальною» 45). Сырые материалы доставляются органами наших чувств, и других материалов для суждения о мире мы не знаем. «Нагтие свыше, зрение по-

мимо глаз, слух помимо ушей принадлежит к числу патологических явлений» [46]). Над этим-то чувственным материалом работает наша мысль.

Ее задача состоит в том, чтобы им овладеть и сделать легко обозримым. Задача эта колоссальная, по сравнению со средствами человеческого мышления. «Перед человеком находится мир, с одной стороны бесконечный в ширину, а с другой — бесконечный в глубину, бесконечный по количеству наблюдений, которые можно сделать на самом ограниченном пространстве, вникая в один и тот же предмет. Между тем то, что называют человеческим сознанием, то, что мы не можем себе иначе представить, как в виде маленькой сцены, на которой поочереди появляются и сходят человеческие мысли, крайне ограничено. Единственный путь к тому, чтобы обнять мыслью возможно большее количество явлений и их отношений, состоит в том, чтобы ускорить выхождение на сцену и схождение с нее отдельных мыслей, и затем усилить важность отдельных мыслей [1]), помещающихся на этой сцене» [47]). При этом работа мысли, как и вообще жизнь духа, происходит единообразно: «законы душевной деятельности одни для всех вре-

---

[1]) Это усиление важности отдельных мыслей Потебня называл «сгущением мысли в слове».

мен и народов...» [48]). Так как мир, мыслимый нами, строится, собственно, в процессе его познания, а познание есть мысленная переработка данных наших чувств, то наш мир создан нами самими. Это не создание из ничего, но единственно возможное для *человека* создание. Притом, оно неизбежно носит на себе отпечаток своего человеческого происхождения. «Мыслить иначе, как по человечески (суб'ективно), человек не может» [49]). Однако, хотя законы душевной деятельности человека и постоянны, свойства, которыми эти законы управляют, с течением времени меняются в определенном направлении, благодаря чему возможна «история мысли и ее человекообразности, т. е... история человекообразности мысли» [50]). Нельзя утверждать, что одна из стадий этой истории ближе к истине, чем другая, потому что «вообще человека характеризует не знание истины, а стремление, любовь к ней, убеждение в ее бытии» [51]). Однако, отсюда не следует, что человечеству наперед известно, где именно, в чем заключается общеобязательная истина. Она не есть, а постепенно создается усилиями человеческой мысли. «Истина, добро, красота входят узкими вратами. Стоило ли бы их проповедывать, и возможно ли было бы из-за них страдать, если бы они были в каком-либо отношении общечеловеческими?» [52]). Таким образом, будучи процессом

одновременного создания и мира, и истины, история мысли в каждый данный момент выражает по-своему истину, потому что он был необходимой стадией в развитии мысли. Поэтому можно сказать, что история мысли «есть смена миросозерцаний, истина коих заключается лишь в их необходимости; что мы лишь потому можем противополагать наше воззрение, как истинное, воззрению прошедшему, как ложному, что нам не достает средств для поверки нашего воззрения» [53]). Впрочем, последовательные миросозерцания выражают, по мнению Потебни, и некоторую общую линию развития. «Прогресс мышления состоит в выделении из мира (т. е. из совокупности мыслимого) свойств, вносимых нашим *я*, и в противоположении этого *я* миру. Чем далее от нас к прошедшему, тем слабее это выделение и противоположение. Чем более суб'ективны продукты мышления, тем непоколебимее вера в их об'ективность» [54]). Поэтому с прогрессом познания эта вера падает. Человек научается понимать суб'ективность своих познавательных средств и «с каждым шагом вперед научается более и более различать степени вероятности (заменяющей у него слепую веру, Т. Р.) и оценивать средства своего ума», далеко не безграничные [55]).

Своеобразная особенность Потебни состоит в том, что, развивая эти взгляды на задачи

и прогресс познания, он, вслед за великим немецким мыслителем, политиком и лингвистом В. Гумбольдтом, считал, что никакая работа и развитие мышления невозможны без участия языка. Слово не только и даже не столько средство для выражения готовой мысли: оно способ, прием ее создания и разработки. Язык—это сама мысль, поставленная перед собою же, сделавшаяся своим предметом, об'ектом. Мысль понимает лишь то, что находится перед нею именно в качестве предмета. Она не могла бы понять и себя, т. е. сделаться сознательной, если бы не поставила и себя перед собою в виде особого предмета. Потебня блестяще раз'ясняет, каким образом достигает этого мысль, становясь словом, и показывает, что, благодаря слову, мысль впервые приобретает сознательность, т. е. ту черту, без которой мысль не была бы мыслью. Таким образом, самое рождение мысли обнаруживает ее органическую связь с языком. Но и на всех ступенях своего развития она не порывает этой связи. Обозначая какое-либо явление словом, мы тем самым выделяем его из бесконечного разнообразия мира, привыкаем видеть его с определенными свойствами, означенными в слове, и в одних и тех же отношениях к другим явлениям мира: благодаря слову, мы постигаем в мире постоянство, прочные зависимости, т. е. законность. Наконец,

всякое слово, выделяя данное явление в ряду других, отводит ему среди других определенное место и тем упорядочивает наши мысли, приучает нас к их систематическому распределению: значит, и систематические интересы познания определяются словом. Из всего этого ясно, что, говоря о слове, Потебня разумел также и мысль, и обратно; хотя он признавал, что во многих случаях работа мысли, коренящаяся в слове, поднимается выше сферы собственного языка.

Таково в кратких и, по возможности, существенных чертах теоретическое мировоззрение Потебни. Им определяются все его главные научные замыслы и задачи. Этих задач, собственно, две. 1. Признавая основной функцией речи-мысли познавательное воссоздание мира из сырого материала ощущений, Потебня должен был, прежде всего, выяснить, *каким именно способом происходит это воссоздание. Ответом на этот вопрос и является его теория словесности, как теория искусства и науки.* Она изложена Потебнею в книге «Мысль и язык» (1862), а также в его лекциях и заметках, опубликованных после его смерти в книгах: «Из лекций по теории словесности» (1894) и «Из записок по теории словесности» (1905). Некоторые дополнения к этим основным источникам представляют другие работы Потебни — напр.,

«Слово о Полку Игореве» (1877—1878), о «Малорусских домашних лечебниках XVIII в.» (1890), а особенно два тома «Об'яснений малорусских и сродных народных песен» (1882—1887). 2. Вторая из основных научных задач Потебни вытекает из его взгляда на существование развития речи-мысли и состоит, говоря его словами, в том, чтобы «*показать на деле участие слова в образовании последовательного ряда систем, обнимающих отношения личности к природе*» [56]). Эта история развития мысли в слове изложена Потебнею в его «Из записок по русской грамматике» (I—II, 1874 г., III—в 1899 г.). Но к ней же имеют отношение и другие важные исследования Потебни, среди которых главное—«К истории звуков русского языка» (1873—1886). В нем Потебня старался разобраться в звуковой истории русского языка, чтобы сквозь ее перепитии добраться до развития мысли в языке. В этих подсобных работах и некоторых других, примыкающих к ним, Потебня по пути сделался, по замечанию академика Ягича, «основателем научной диалектологии в России» [57]). Обратимся теперь к краткой характеристике того, как Потебня разрешил две главные задачи своей научной деятельности.

Итак, каким образом мысль познает бесконечное разнообразие чувственных данных, в облике которых является нам мир?

Прежде всего, художественно, поэтически, а потом и научно. Она перерабатывает эти суб'ективные данные, облекая их в поэтическую форму слова. Исходя отсюда, мысль поднимается затем до их научной переработки, до научного об'ективирования. Потебня выражает это так: «Если искусство есть процесс об'ективирования первоначальных данных душевной жизни, то наука есть процесс об'ективирования искусства» [58]). Обосновывается это, приблизительно, так. Перед познающим—неисчерпаемое множество чувственных данных. Упорядоченное лишь внешне и формально, пространством и временем, это множество, по существу внутреннее, дано нам как нерасчлененный хаос. Мы заинтересовываемся то одной, то другой частью этого хаоса. К одним из них мы привыкаем раньше, чем к другим, и в силу этого они становятся для нас как бы понятными. Когда мы затем наталкиваемся в хаосе чувственных данных на новые пучки их, почему-либо нас заинтересовывающие, мы стараемся овладеть ими мысленно с помощью комплексов, усвоенных нами ранее. Мы достигаем этого посредством сравнения нового со старым. При этом мы замечаем, что новое, которое можно назвать неизвестным и обозначить буквою «Х», напоминает нам чем-то старое; назовем это последнее буквой «А». Всматриваясь лучше, мы находим,

что «X» похоже не на «A» целиком, а на некоторую его сторону или элемент «а». В итоге, «X» перестает быть для нас вполне неизвестным: ведь мы приводим его в связь с известным, с «A», посредством элемента «а». Мы до некоторой степени знаем его, и это знание укладывается в схему: «X» похоже на «а», «X» может быть представлено, изображено посредством «а». Разберемся подробно в этой формуле. Неизвестный нам ранее комплекс чувственных данных, представляемый, изображаемый теперь посредством «а», является нам как нечто единое — именно потому, что он представлен одним символом «а». *Как* именно осуществлено в нем это единство, и *что* именно содержится в нем доподлинно, этого наш символ нам не говорит. Он гарантирует нам лишь синтетическую связность его элементов, обрисовывает их нам, как единое, хотя и неопределенное целое. Говоря, что солнце — блестящий таз, водруженный на хрустальной тверди, мы об'единяем в одно целое все неисчерпаемое богатство данных, соединяемых с солнцем. Но мы не анализируем их и даже не пытаемся их себе представить во всем об'еме. С помощью образа «блестящий таз» мы только собираем их в единый пучек. Если от этого синтетического, хотя и не расчлененного, единства данных, изображаемых, представляемых символом, мы перейдем к этому

последнему, то заметим, прежде всего, что символ, обозначаемый буквою «а», никогда не равен изображаемому, представляемому им. В мыслимом при его посредстве содержание всегда богаче, чем в нем самом. А нередко содержание символа взято из области, качественно иной, чем содержание того, на что он указывает, и что Потебня часто называет «значением» образа или символа. В виду этого последнее никогда не изображается символом прямо и точно, а лишь косвенно и приблизительно. Особенность символа еще в том, что он всегда конкретен и единичен, и, наконец, в том, что он отличается относительным постоянством. Постоянство символа не исключает, впрочем, значительной эластичности в его применении. Вглядываясь лучше в содержание символизируемого, мы научаемся видеть в нем многое, чего раньше не видели. Это, однако, не заставляет нас отказаться от прежнего символа или образа. Приходится давать ему все новые применения, которых он может в конце концов и не выдержать. Но пока он выдерживает их, он жив и плодотворен.

Однако, познавательная потребность не может быть удовлетворена полностью на этом пути,— пути художественного, поэтического познания. Искусство — только начало премудрости. Его дело продолжает

наука. Она исходит из достижений искусства, из тех синтетических единств, из тех чувственных целых, которые искусство фиксирует с помощью символов или образов. Эти единства, мы видели, не анализированы. Мы не знали ни того, что в них доподлинно содержится, ни того, как в них сочленены их элементы. За этот анализ и берется наука. Основное ее отличие от искусства в том, что к синтезам, добытым художественно, она подступает без помощи символов, образов. Для нее это возможно только потому, что искусство уже добыло эти синтезы посредством своих символов. Но наука не вольна дойти до постижения художественных синтезов простым устранением посредствующих символов. Надо иметь достаточное основание для их упразднения. Потебня представляет себе это основание в двух видах. Либо образ, символ, созданный при первоначальном знакомстве с познаваемым, оказывается несовместимым с теми сведениями, какие дает нам о познаваемом последующее, более обстоятельное ознакомление. Либо же этот образ становится настолько бледным, бессодержательным по сравнению с изученным лучше содержанием познаваемого, что перестает напоминать о нем, представлять его. В обоих случаях образ отпадает, и мы в преддверии прозы или, что то же, науки. «Тогда слово теряет представление (сим-

вол, образ, Т. Р.) и остается лишь звуковым посредником между познаваемым или об'ясняемым и об'яснением (первообразная форма прозы)» [59]. «Прозаичны — слово, означающее нечто непосредственно, без представления (образа, Т. Р.), и речь, в целом не дающая образа...» [60]. Позна ние теперь стоит лицом к лицу с теми синтезами, которые подготовило искусство. Но лишившись тех образов, которые придавали этим синтезам какое ни есть единство, научное познание в своем анализе роковым образом от этих единств уходит. Оно не может анализировать их иначе, как разбивая их на элементы, т. е разрушая единство. Солнце, напр., в художественном восприятии—некоторое, хотя и неопределенное единство. Для науки солнца, как чего-то единого, нет, потому что нет и науки вообще. Астроном видит в нем массу, вращающуюся вокруг оси и одновременно уносимую куда-то в пространство поступательно. Физик принимает солнце за резервуар и машину энергии. Биолог рассматривает солнце, как источник растительной, а через нее и животной энергии, как фактор климатический и т. д. И все это, хотя и относится к «одному и тому же» солнцу, но между собою не связано, не образует единства. Таково первое следствие того, что наука познает без посредства образов, без сим-

волов. Другое состоит в том, что, дробя данные ей синтезы на элементы, она не в состоянии сохранить конкретность даже и за этими элементами. По мнению Потебни, наука всегда стремится к обобщению. В частном она видит общее. Поэтому частность, как частность, исчезает из ее кругозора. Она становится только иллюстрацией, только примером общего. Строго говоря, наука не знает фактов, об'единенных теми общностями, которые она называет законами. «Я хочу сказать,—поясняет эту мысль Потебня, — что в... примере «птица имеет симметрическое строение тела» факт, подтверждающий это обобщение, есть не все понятие о птице, не все, что можно заметить о ней, а только та доля понятия о птице, которая вошла в наше обобщение и возникла одновременно с нашим обобщением. Обобщение состоит в том, что мы в факте оставили только то, что вошло в обобщение» [61]). Таким образом, конкретные факты в науке растворяются в отвлеченных общностях, в законах, с которыми они отождествляются. «Общая формула науки есть уравнение: факт=закону. Что не подходит под нее, есть заблуждение, ведущее к отыскиванию нового тождества» [62]).

Однако, наука лишь стремится к этому. В фактах есть нечто конкретное, не поддающееся абсолютному превращению их в

отвлеченную общность. Эта конкретность— остаток той, которая присуща всему, добываемому искусством. И искусство, создавая для дальнейшей научной переработки все новые и новые конкретные синтезы, не перестает питать науку фактами, не могущими окончательно перейти в форму отвлеченных законов. Таким-то образом, «без постоянного нарушения и восстановления закона тождества не было бы человеческой науки; как если бы равновесие, спокойствие было не стремлением только, то не было бы жизни с ее ростом и умалением» [63]). Эта «жизнь» в науке возможна только благодаря непрестанному вмешательству искусства. И с другой еще стороны не обойтись ей без искусства. «Наука раздробляет мир, чтобы снова сложить его в стройную систему понятий; но эта цель удаляется по мере приближения к ней, система рушится от всякого не вошедшего в нее факта, а число фактов не может быть исчерпано. Поэзия (вообще искусство, Т. Р.) предупреждает это недостижимое аналитическое знание гармонии мира: указывая на эту гармонию конкретными своими образами, не требующими бесконечного множества восприятий, и заменяя единство понятия единством представления, она некоторым образом вознаграждает за несовершенство научной мысли и удовлетворяет врожденной человеку по-

требности видеть везде цельное и совершенное. Назначение поэзии не только приготовлять науку, но и временно устраивать и завершать невысоко от земли возведенное ею здание. В этом заключается давно замеченное сходство поэзии и философии. Но философия доступна немногим; тяжеловесный ход ее не внушает доверия чувству недовольства одностороннею отрывочностью жизни и слишком медленно исцеляет происходящие отсюда нравственные страдания. В этих случаях выручает человека искусство, особенно поэзия и первоначально связанная с нею религия» [64]). Так искусство и науки осуществляют, переплетаясь, задачу познавательной переработки чувственной действительности. В результате переработки над этой последнею возводится новый мир, «идеальный», по выражению Потебни, мир мысли художественной и научной. На его отличии от чувственной действительности Потебня особенно настаивает: «мысль, все равно, художественная или научная, так же не может быть тождественна с действительностью, как спирт и сахар с зерном, картофелем и свекловицей. Требование, чтобы искусство было подражанием природе, т. е. той же действительности, похоже на требование, чтобы высшие организмы питались не сосредоточенной пищей и не химическими продуктами, а как земляные черви —

даже больше: чтобы при питании не было претворения веществ в более тонкие и нужные, т. е., чтобы самого питания не было. Если бы это требование было исполнено, оно было бы бесцельно, ибо зачем подражание, когда есть сама природа? Толки об об'ективно прекрасном и также о том, что и жизнь со своими мелочами— такой художественный факт, что неумелая художественность скорее ослабляет ее впечатление, чем концентрирует его..., основаны на qui pro quo. Если жизнь (природа, действительность) есть художественный, то она же и научный факт. Таким образом придем к ненужности науки. Но действительность в смысле низших сфер душевной деятельности человека, соответствующих душевной деятельности животных (т. е. действительность наших чувственных ощущений, Т. Р.), ни художественна, ни научна» [65]). Тою и другою делает ее впервые познавательное творчество человека.

Мы рассмотрели, как Потебня разрешает первую из двух главных задач своих научных исследований. Перейдем теперь ко второй из них, — к тому, каково участие речи-мысли в смене теоретических отношений к действительности. Перерабатывая данные этой последней в искусстве и в науке, человеческая мысль не остается во все время этого процесса одной и той же по своим основным склонностям. Она обна-

руживает стремление к изменению в строго определенном направлении. Последнее определяется тем, что наша мысль стремится подняться над непосредственной, чувственной данностью и возвыситься до возможно наибольшей отвлеченности. Мы уже видели, как это стремление выражается в искусстве и в науке. Но мы можем проследить его и в развитии тех элементарных функций речи-мысли, которые называются грамматическими категориями, в частности — в развитии частей речи. Еще в «Мысли и языке» Потебня предначертал программу исследований в этой области, которые он впоследствии выполнил в трех частях «Из записок по русской грамматике». В этой программе мы читаем: «слово в начале развития мысли не имеет еще для мысли значения качества и может быть только указанием на чувственный образ, в котором нет ни действия, ни качества, ни предмета, взятых отдельно (т. е. ни глагола, ни прилагательного, ни существительного, Т. Р.), но все это в нераздельном единстве... Образование глагола, имени и пр. есть уже такое разложение и видоизменение чувственного образа, которое предполагает другие, более простые явления, следующие за созданием слова» [66]).

Процесс разложения чувственных образов и образование частей речи Потебня проследил на развитии русского и род-

ственных ему (славянских и литовского) языков, лишь изредка приводя аналогии из других языков. Но он надеялся, что этот процесс, при всех его индивидуальных изменениях, может быть прослежен во всех языках, по крайней мере новых. Началось разложение чувственных образов, насколько мы можем заметить, с образования слов, в которых современные нам функции главных частей речи, имен и глаголов, еще смешаны. Потебня называет эти слова «первообразными причастиями». С самого начала, однако, эти причастия, в которых, как в зародыше, были заложены будущие функции имен и глаголов, сбивались больше на имена, чем на глаголы. Они были лишены таких существенных признаков глагола, как время и залог. Напротив, имя существительное они напоминали тем, что, изображая, подобно современному причастию, признак, произведенный деятельностью предмета (как в форме «битый»), они почти исключали мысль об этой производящей деятельности и представляли признак как бы уже произведенным, готовым, данным. Так это и в современном существительном, с тою разницей. что в последнем даже намек на деятельность, произведшую признак, сплошь и рядом вовсе исключен. Потебня не утверждает, что первообразное причастие было *первой* грамматической формой. Такой он

считал междометие, но причастие, являвшееся позже, было наиболее ранней из форм, начиная с которых можно более или менее явственно проследить развитие современных частей речи. Это развитие и началось в том направлении, в каком было предрешено строением первообразного причастия. Похожее скорее на имя, чем на глагол, оно и выделило из себя, прежде всего, имя. Это было, именно, существительное, грамматическая категория субстанции. Потебня настаивает на том, что грамматическая субстанция, ядро раннего существительного, отличается от позднейшей «метафизической». «Грамматическую субстанцию,—говорит он во II ч. «Из записок по русской грамматике»,—следует отличать от метафизической. Последняя есть вещь сама по себе, отдельная от всех своих признаков и представляемая недоступной никакому разложению и исследованию причиною появления этих признаков в нашем сознании. Грамматическая вещь несравненно древнее такого понятия. Она есть совокупность признаков, совершенно однородных с тем, который может быть этимологически дан в существительном, более тесно связанных в мысли между собою и со словом, чем с другими признаками» [67]). Впрочем, в тексте Потебня не всегда выдерживает это различие между грамматической и метафизической суб-

станцией. И соответственно этому в III-ей части «Из записок» различие между ними, в сущности, исчезает, сведясь к различию степени ясности, определенности. Грамматическая субстанция содержит implicite и неотчетливо то, что explicite дано в субстанции метафизической [68]). На первых ступенях развития мысли, в которой господствует категория существительного - субстанции, мир представляется совокупностью самодеятельных и, по нашему личному образу, одушевленных сущностей, внутренне неизменных, но действующих и тем вызывающих изменения во-вне.

Однако, выработав эту категорию, наша мысль не оставляет ее в дальнейшем без всяких изменений. Изменение происходит, притом—в двояком смысле. *Во первых*, из существительного выделилась новая грамматическая категория—имя прилагательное. Обозначая известное содержание не как самостоятельную сущность, а как признак, заключенный в данной сущности, эта категория приводила к сокращению числа тех случаев, на которые ранее распространялась категория существительного - субстанции. Роль последней постепенно суживалась. *Вдобавок*, и в этом суженном кругу категория существительности стала со временем применяться в новом, изменившемся виде. Изменение это состоит в том, что существительное постепенно формализирова-

лось. Привычка мысли во всем усматривать субстанции привела к тому, что категория существительного распространялась на вещи, которые, не будучи одушевленными сущностями, невольно, хотя и неловко, представлялись такими. Например, на этом пути возникли существительные вроде «белизна», «равенство» и т. п. Они могли быть не реальными, а только фиктивными субстанциями. Подобные случаи наталкивали на формализацию существительных, на привычку видеть в них не сущности вещей, а только неизбежную форму, под которою вещи мыслятся нами. Этот процесс формализации, продолженный достаточно далеко, привел, напр., в наше время к тому, что, употребляя сплошь и рядом существительные, мы не думаем непременно о каких-то неизменных духовных сущностях, а лишь о чем-то, несущем определенные функции в предложении, а именно— о совокупностях признаков, представляемых в речи, как подлежащее или дополнение.

Пока происходило все это наростание, а затем внутреннее умирание субстанциального взгляда на мир, в недрах языка-мысли назревали семена будущего, готовилось и совершилось проявление новой категории мысли, глагольности. Повидимому, глагол выделился из первообразного причастия не позже существительного. Но в эпоху господства последнего глагол почти

не отличался от него. Наиболее ранняя, по мнению Потебни, форма глагола, это—инфинитив (неопределенное наклонение). А инфинитив был сперва существительным и лишь впоследствии перестал быть им. Впрочем, в некоторых языках, как немецкий, он и до сих пор легко возвращается в стадию существительности: для этого достаточно присоединить к нему родовую частицу. Но переход от существительности к глагольности, однажды проделанный, не мог остаться без дальнейшего развития. Дело в том, что существительное, наиболее ранняя самостоятельная категория, в то же время всего ближе к первоначальной чувственной конкретности и наглядности мысли. В своем стремлении к наибольшей отвлеченности мысль не могла удовольствоваться этой слишком «наглядной» категорией. Имя прилагательное, ставя перед нами не сущности, а лишь признаки сущностей, уже менее наглядно, более отвлеченно. Глагол еще отвлеченнее. Он обозначает действие, процесс, нечто, чувственно не воспринимаемое: ведь у нас нет органа чувств для восприятия движений, изменений, деятельностей и пр. Инфинитив, начальная форма глагола, именно благодаря своей близости к существительному, ослабляет ту энергию отвлеченности, которая заключена в глаголе. Поэтому, в дальнейшем своем развитии глагол должен был превзойти стадию ин-

финитива. Следовало выработать такую форму, которая, обозначая действие, могла бы выражать все его оттенки: кто, как и когда действует. Без лиц, залогов и времен инфинитив на эти вопросы не отвечал. И он должен был уступить свое место индикативу (из'явительному наклонению), который превосходно выражает все оттенки действия лицом, залогом и временем. В некоторых языках инфинитив почти вытеснен индикативом. Потебня убежден, что к этому идет дело и в других языках (мнение, встретившее серьезные возражения). Во всяком случае, господствующая роль индикатива во всех новых языках не подлежит сомнению.

Дальнейшая история глагола — история вытеснения им существительного из тех мест, где его мог заменить глагол. Долгое время в предложении существовал своеобразный симбиоз глагола и существительного, в роли составного сказуемого. С усилением глагола этот симбиз прекращается. Потебня показал, что составное сказуемое—форма отмирающая. Чем дальше, тем больше союз субстанции с действием заменяется одним действием, потому что составные сказуемые с течением времени уступают свое место простым, чисто глагольным. Становясь автономным в роли сказуемого, глагол стремится далее вытеснить существительное даже из подлежащего. Вырабатываются предложе-

ния, лишенные подлежащего, предложения бессуб'ектные. Раньше говорили «Перун, Зевс гремит». Теперь говорим просто и безлично: «гремит». Мысль от этого не теряет в ясности. И это достигается исключением существительного и господством чистой глагольности. Бессуб'ектных предложений еще сравнительно мало. Но мы идем к ним. Вообще, все это, говорит Потебня, указывает на увеличение силы притяжения глагольного предиката в ущерб силе суб'екта и об'екта (т. е. подлежащего и дополнения, выражаемых существительным) [69]. Возростающее значение глагольности в речи-мысли имеет двоякий смысл. Во первых, он знаменует вытеснение категории субстанции категорией действия, процесса, силы, энергии; все это у Потебни равнозначные понятия. И делается это не одним или немногими лицами, а массою. «Труды обособившихся наук и таких-то по имени ученых являются здесь лишь продолжением деятельности племен и народов. Масса безыменных для нас лиц, масса, которую можно рассматривать, как одного великого ученого, великого философа, уже тысячелетия совершенствует способы распределения по общим разрядам и ускорения мысли и слагает в языке на пользу грядущим плоды своих усилий» [70]. Стихийный коллективный ход мысли заставляет нас покидать точку зрения неизмен-

ных субстанций во имя идеи процесса, изменения. И мир должен раскрываться перед нами, как мир всеобщего течения, универсального изменения. Таков, прежде всего, смысл возрастания роли глагольности. Но это еще не все. Потебня показывает, что благодаря ему происходит еще «увеличение связи и единства предложения» [71]). Предложение—микрокосм мысли. Каково строение предложения, таково и строение мысли. Когда предложение, слабое глагольным элементом, изобиловало субстанциями, оно было лишено надлежащей связности и единства. Ведь субстанции — самостоятельные сущности; невозможно спаять их воедино, не жертвуя их самостоятельностью. Мир, отражавшийся некогда в субстанциальном предложении, был поэтому миром бессвязным и плохо об'единенным. Не таков мир оглаголенного предложения. Все в нем об'единено принадлежностью к единому процессу, выражающему в космическом масштабе безусловную гегемонию глагола в предложении [72]).

Потебня—мы знаем—не считал позднейшую стадию в развитии мысли более истинной только потому, что она позднейшая. Она потому кажется нам истинной, что у нас нет еще средств убедиться в ее несовершенстве. Когда мы в этом убеждаемся, мы переходим на новую точку зрения. Это происходит всегда стихийно, многоголосно,

усилиями огромных масс. Будущее не закрыто для таких перемен тем, что теперь в нашей мысли главенствует категория глагола—процесса. «Если мир, как мы верим, неисчерпаем для познания, и если верно, что не может быть найдено пределов лексическому развитию языка, то нельзя назначить и черты, ограничивающей количество и качество возможных в формальном языке категорий» [73]). Значит ли это, что мы обречены стремиться к недосягаемой истине? Вспомним, что, по мнению Потебни, мы *создаем* истину в самом стремлении к ней. И значит—у нас всегда есть истина, пока мы, стремясь к ней, будем творить ее.

ГЛАВА V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Есть великая красота в этом исповедании творимой истины. Прав был Потебня или ошибался, он, во всяком случае, был последователен. Выставить в молодости грандиозную программу. Трудиться всю жизнь над ее выполнением. Вскопать ради этого нетронутые толщи фактов. Не погибнуть под их подавляющей массой. И сделать их в конце концов монументальной одеждой юношеских видений,— не всякий на это способен. И особенно — у нас, в стране бесчисленных начинаний, оста-

ющихся без продолжений. У нас, производящих в изобилии ученых, не способных подняться над землею, и философов, гнушающихся черной работой под землею.

Но и при всем том—не грешит ли Потебня провинциализмом? Широкий поток Волги ответвляет от себя многочисленные «воложки», рукава, теряющиеся среди мелей, заносимые песками, образующие тихие затоны, затем озера, переходящие незаметно в болота. Усилия мыслителя, при всей его одаренности, могут иногда довести тоже лишь до своего рода болота, если его мысль оторвана от главного течения мировой мысли. В каком русле двигалась мысль Потебни?

Многочисленными путями философские воззрения и научные изыскания Потебни восходят к классическому периоду немецкой идеалистической философии.

С ним Потебня мог быть знаком и непосредственно, из сочинений корифеев немецкого идеализма, Фихте, Шеллинга и Гегеля. Но уж наверное он был знаком с некоторыми из этих воззрений через посредство сочинений В. Гумбольдта, одного из замечательнейших, хотя и не во всем правоверных, представителей того же классического немецкого идеализма. В философском отношении Гумбольдт был очень близок к Шеллингу, которого напоминал в частности и своим интересом к вопросам

философии искусства. Но в отличие и от Шеллинга, и от многих других представителей классического идеализма, Гумбольдт был не только и не просто философ, но и ученый и крупнейший государственный деятель. Последнее мы оставим в стороне. Но ролью Гумбольдта, как одного из величайших немецких ученых конца XVIII-го и первой половины XIX века, мы здесь никак не можем пренебречь. И не только потому, что своими знаменитыми исследованиями по сравнительному языковедению он опередил во многом соответствующие воззрения Потебни, но и потому еще, что к философии немецкого идеализма, дух которой он в общем разделял, он относился как практик-ученый. Для него было несомненно, что искусство и наука суть последовательные стадии в развитии самоуясняющегося духа. Но языковеду, каким был Гумбольдт, нечего было делать с этим духом во всей мощи его космических проявлений.

Он знал, прежде всего, что искусство и наука суть человеческие деятельности, а затем и то, что они даже осуществляются в форме слова. Низводя таким образом основную проблему идеализма с философских небес на научную землю, Гумбольдт наметил общие очертания теории искусства и науки, как явлений человеческого сознания, развивающихся в слове, в языке.

Не перестав быть ни идеалистом, ни эволюционистом, ни рационалистом, Гумбольдт придал всему этому порядку идей более позитивную форму и постановку, допускающую дальнейшую работу мысли на путях языковедения.

На этих-то путях Гумбольдт и создал научно-философскую школу, одним из крупнейших представителей которой был у нас Потебня. Но Потебня выступил на научно-литературном поприще в 60-ые годы. А последнее и крупнейшее сравнительно-лингвистическое исследование Гумбольдта: «Ueber die Kawisprache auf die Insel Java» появилось в конце 30-х годов. За тридцать лет, протекшие с этих пор до появления «Мысли и языка» Потебни, в европейской философской мысли произошло не мало изменений. Эти изменения в занимающей нас связи сказались, между прочим, всеобщим упадком интереса к учению об идеальном *абсолютном* сознании. Мыслители, задумывавшиеся об явлениях духовной жизни, по разным причинам стали интересоваться ими в их индивидуально-психических проявлениях. Не всеобщий, а *личный* дух сделался предметом их анализа и теоретических построений. Именно в это время были заложены основы современной индивидуальной психологии. Но, конечно, наиболее чуткие представители этой эпохи философского психологизма не могли же

отрицать наличия в нашем сознании элементов сверхличных, указанных Кантом и возведенных в ранг абсолютного сознания немецким идеализмом. Эти элементы остались, но были поняты существенно иначе, чем у Канта и его ближайших преемников. Более или менее сверхличным было признано именно мышление, об'единяющая, организующая функция сознания. И сверхличность ее основали не на том, что она обнимает все индивидуальное сознание, а на том, что она вырабатывается и разрабатывается коллективными усилиями людей, в недрах социальности. Крупнейшими представителями этого философского психологизма в Германии, где получил свое философское воспитание и Потебня, были Бенеке, Лотце, Лацарус, Штейнталь, Вайц и др. В частности, Лацарус и Штейнталь были основателями той школы социальной психологии, органом которой и был созданный ими же «Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissentchaft» (с 1860 г.), и которою уделялось много внимания разработке языкознания в духе Гумбольдта.

Потебня унаследовал проблемы, волновавшие классический, немецкий идеализм и, в частности, В. Гумбольдта, в постановке философского психологизма 40—50-х годов. И таким-то образом он поставил себе задачу проследить об'ективирование чувственных данных личной душевной

жизни посредством работы коллективной речи-мысли, возводящей их в ранг искусства, а затем науки, как последовательных форм человеческого познания. На этом пути, обусловленном давним развитием широких течений европейской научной и философской мысли, он и создал свою теорию поэзии и прозы, искусства и науки. Разработка этой теории, основы которой заложил еще Гумбольдт, принадлежит всецело Потебне. Я не могу вдаваться в разбор этой теории с точки зрения последующего развития научной и философской мысли, тем более, что в этом отношении она далеко еще не сказала своего последнего слова. Замечу только, что в теории поэзии и науки Потебни есть несколько сторон, вызывающих к себе в настоящее время различное отношение. Психологизм Потебни, его убеждение, что в искусстве и в науке наша мысль работает над материалом чувственных данных, не перестает быть и в наше время одним из распространеннейших воззрений. Но оно встречает и многочисленные возражения, смысл которых тот, что мысль наша имеет дело не с суб'ективно-чувственными данными, а самою об'ективною действительностью, и работает она здесь, особенно в плоскости науки, не об'единяя суб'ективный материал, а постигая непосредственно или косвенно эту об'ективную действительность,

с заключенными в ней единствами. Роль мысли или, точнее, воображения в создании искусства остается и при этом взгляде такою же, как у Потебни. И тогда как Потебня и родственные ему научно-философские течения, благодаря свойственному им психологизму, связывают в одну стройную теорию искусство и науку, представители противоположного, антипсихологического направления должны исследовать их порознь. С известной точки зрения, такое разделение может оказаться минусом. Другая сторона теории поэзии и прозы Потебни состоит в том, что, связывая в ней искусство и науку, он делает искусство орудием познания и в этом видит основную его функцию. Этот эстетический рационализм точно так же вызывает в наше время двойственную оценку. Одни, как Фолькельт, Христиансен, Бергсон и др., в общем, сочувствуют ему. Другие, как, напр., Липпс, Коген и пр., считают его заблуждением и думают, что искусство не средство познания, а совсем особая, самостоятельная духовная функция. Наконец, теорию поэзии и прозы Потебни можно рассматривать и как оригинальную по методу попытку психологии мышления. Психология второй половины XIX в., да отчасти и наших дней, изучает мышление, как голую функцию, оторванную от тех конкретных задач, которыми она занимается в искус-

стве, науке, философии и т. д. Она изучает «отвлеченное», а не осмысленно-предметное мышление. И оттого на ней лежит печать какой-то ненужности, и нельзя от нее провести нитей к тому, чем мы занимаемся в обыденной работе мысли. Не то было у немецких идеалистов начала XIX в. Они, может быть, излишне перегружали психологию мышления философскими элементами. Но по крайней мере они имели дело с тем мышлением, которое на самом деле «мыслит». Следуя их традиции, таким же образом подошел к мышлению и Потебня. Современные психологи только-только начинают выходить на аналогичный путь.

Исследования Потебни по истории мысли находятся как бы в точке скрещения двух течений мысли.

Одно из них чисто философское. Восходя еще к Канту, оно складывается из перепитий вопроса об изменяемости категорий познания. Вопрос этот, имеющий долгую и сложную историю, не раз обсуждался и после Потебни, нередко в его духе.

Другое течение—собственно научное.

Еще со времен Як. Гримма в языкознании установилась историческая точка зрения. Представители сравнительного языкознания, в числе прочих задач, к которым обязывал их исторический метод, стреми-

лись выяснить также эволюцию грамматических категорий. Распространен был сперва взгляд, что первичной категорией является глагол, потому что древнейшие корни в языке имели будто бы глагольную форму. Этот взгляд защищал у нас Буслаев в своем «Опыте исторической грамматики русского языка» (1858). В западно-европейской литературе он господствовал еще дольше и имеет там своих представителей и сейчас. Защитниками его были Макс Мюллер в своих «Лекциях по науке о языке» (1860), Л. Гейгер в сочинении «Ursprung und Entwickelung der menschlichen Sprache und Vernunft» (1868), Л. Нуаре в книге «Logos» (1885) и др. Против исторического первенства глагола, защищавшегося этими учеными, и боролся Потебня, еще начиная с «Мысли и языка», а особенно в «Записках по русской грамматике». Еще при его жизни в языкознании произошел в рассматриваемом отношении переворот в пользу его взглядов на эволюцию частей речи. За более поздний характер глагола по сравнению с именами высказался Г. Пауль в «Principien der Sprachgeschichte» (1886), сочинении, сделавшемся настольною книгой современных историков языка. Еще раз был пересмотрен этот вопрос и опять разрешен в духе Потебни в капитальном сочинении Вундта «Völkerpsychologie».

Работая в одном из двух только что рас-

смотренных течений мысли, ученые сплошь и рядом ничего не знали и не думали о другом. Потебня не был из числа таких. Он вполне сознавал, что его исследования по истории языка обязывают к соответствующим взглядам и на эволюцию категорий мысли. В этом отношении он резко отличается, напр., от недавно умершего Вундта. В упомянутой «Народной психологии» он указывает на развитие языка от имен к глаголам, но в своей «Системе философии» высказывается против взгляда, что категория субстанции упраздняется по мере развития мысли. Такого дуализма не допускал Потебня. Он был не только языковед *и* мыслитель, а замечательный языковед-мыслитель. И может быть необычайной насыщенностью его лингвистических идей философским содержанием об'ясняется то, что лингвисты неохотно идут по его следам, а некоторые находят, что в его исследованиях об языке слишком большое внимание уделено мышлению и мало—собственно языку (школа Фортунатова). Так это или нет, покажет будущее развитие языкознания. Но во всяком случае и всегда русская наука будет гордиться этим замечательным человеком и ученым.

ССЫЛКИ.

[1]) Сборник «Памяти Александра Афанасьевича Потебни», Харьков, 1892, стр. 51. [2]) Там же, стр. 20. [3]) Свидетельство проф. Д. И. Багалея, сообщенное мне устно. [4]) Сведения взяты из письма ко мне Б. А. Лезина из Харькова. [5]) Биографические сведения см. в указанном харьковском сборнике, особенно в ст. Б. М. Ляпунова. [6]) Заимствовано из предисловия г. Борисяка к книге Депере «Превращение животного мира». [7]) В III части «Из записок по русской грамматике», 1899. [8]) «Памяти А. А. Потебни», стр. 51. [9]) Из автобиографии Потебни, напечатанной у Пыпина, «История русской этнографии» III, 423—424. [10]) «Памяти А. А. Потебни» стр. 13. [11]) Устное сообщение Д. Н. Овсянико-Куликовского. [12]) «Из записок по русской грамматике» 1899, ч. III, 502. [13]) «Памяти А. А. Потебни», стр. 13. [14]) Там же, стр. 17. [15]) А. А. Потебня. «Из записок по теории словесности». 1905, стр. 393—394. [16]) Там же, стр. 355. [17]) Там же, стр. 114. [18]) А. А. Потебня. «Из лекций по теории словесности», 1894, стр. 30. [19]) «Из записок по теории словесности», стр. 127. [20]) «Мысль и язык», 1913, стр. 212, примечание (статья «Язык и национальность»). [21]) «Из записок по русской грамматике», ч. III, стр. 6. [22]) «Из записок по теории словесности», стр. 50. [23]) «Мысль и язык», 1913, стр. 224 (в статье «Язык и национальность»). [24]) «Памяти А. А. Потебни», стр. 12.

[25]) «Мысль и язык», 1913, стр. 217—218. [26]) Из предисловия г. Русова к переведенным Потебнею отрывкам из «Одиссеи», см. «Из записок по теории словесности», стр. 529—540. [27]) Из статьи: «А. А. Потебня, как языковед-мыслитель», Киевская старина, 1893, VII, стр. 32. [28]) «Памяти А. А. Потебни», стр. 16. [29]) «Мысль и язык», 1913, стр. 166—167. [30]) Из воспоминаний А. Г. Горнфельда, «Памяти А. А. Потебни», стр. 16. [31]) Стихи 14—38 седьмой песни. [32]) Письмо Л. Н. Толстого к Фету от Дек. 1870 г. [33]) «Памяти А. А. Потебни», стр. 12. [34]) Там же, стр. 11. [35]) Там же, стр. 50. [36]) Там же, стр. 19. [37]) Там же, стр. 50. [38]) «Из записок по теории словесности», стр. 127. [39]) «Этика», ч. V, схолия к положению, ст. 42. [40]) «Из записок по теории словесности», стр. 157. [41]) Там же, стр. 645. [42]) Там же, стр. 150, примечание. [43]) Там же, стр. 614—615. [44]) «Памяти А. А. Потебни», стр. 13. [45]) «Из запис. по теор. слов.», стр. 65. [46]) Там же, стр. 612. [47]) «Из лекций по теории словесности», 1894, стр. 97—98. [48]) «Мысль и язык», 1913, стр. 38. [49]) «Из записок по русской грамматике», III, стр. 588. [50]) Там же, стр. 588. [51]) «Мысль и язык», стр. 125. [52]) «Из записок по теории словесности», стр. 512. [53]) Там же, стр. 408. [54]) Там же, стр. 429. [55]) Там же, стр. 614—615. [56]) «Мысль и язык», стр. 141. [57]) «Памяти Потебни», стр. 68. Потебне не мало страниц посвящено Ягичем в его «Истории славянской филологии», 1910 г. У меня ее нет под рукою. [58]) «Мысль и язык». стр. 167. [59]) «Из записок по теории словесности», стр. 97. [60]) «Из зап. по теор. слов.», стр. 102. [61]) «Из лекций», стр. 66—67. [62]) «Из зап. по теор. слов.», стр. 99. [63]) Там же. [64]) «Мысль и язык», стр. 166—167. [65]) «Из записок по теории словесности стр. 65—66. [66]) «Мысль и язык», стр. 121. [67]) «Из записок по русской грамматике», 1874, т. I, стр. 115—116. [68]) «Из записок по русской грамматике», т. VI (ч. III), 1899, стр. 2—3. [69]) Из Положений к сочинению «Из записок по русской грамматике.

А. А. Потебни, приложенных к I тому, тезис 5. [70]) «Из записок по русской грамматике», 1899, II (ч. III), стр. 642. [71]) Из тезисов к I т., тезис 5. [72]) Эту мысль Потебни я развил, основываясь на общем духе его взглядов. [73]) «Из записок по русской грамматике», 1874, I, стр. 66–67.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Список печатных сочинений А. А. Потебни *).

1. *О некоторых символах в славянской народной поэзии.* Харьков, 1860, стр. 155. Магистерская диссертация.

2. *Мысль и язык.* Ряд статей в «Журн. Министерства Народн. Просв.», 1862 г. Были оттиски (191 стр.). Второе посмертное издание вышло в 1892 году. Третье—в 1913 г. Четвертое печатается Украинской Академией Наук (с осени 1921 г.).

3. *О связи некоторых представлений в языке* в «Филологических записках», 1864 г., вып. III.

4. *О мифическом значении некоторых обрядов и поверий.* I. Рождественские обряды. II. Баба-яга. III. Змей, Волк, Ведьма (310 стр). Напечатано в 2 и 3 кн. «Чтений Московск. Общ. истории и древн.». 1865.

5. *Два исследования о звуках русского языка:* I. Полногласные. II. Звуковые особенности русских наречий. Напечат. в «Филологич. Зап.». 1864—65 г.; были оттиски (156 стр.).

---

*) Воспроизводим этот список с некоторыми сокращениями из сборника «Памяти А. А. Потебни». Список составлен профессором Н. Ф. Сумцовым. Мы кое-что прибавили к нему. Нумерация тоже наша.

6. *Заметка на заметку о Кике* в «Филологич. Зап.». 1865, I.

7. *О доле и сродных с нею существах*, напечат. в «Древностях Московск. Археол.», 1867, т. II; были оттиски (44 стр.).

8. *О купальских огнях и сродных с ними представлениях*, напечат. в «Археол. Вестнике» Московск. Археол. Общ., 1867; были оттиски (19 стр.).

9. *К статье Афанасьева «Для Археологии русского быта»*, в «Древностях» Археологич. Общ., 1867, I, вып. 2.

10. *Переправа через воду, как представление брака.* «В Археолог. Вестн.», 1868, ноябрь—декабрь.

11. *Заметки о малорусском наречии* в «Филолог. Зап.», 1870 и отдельно 1871.

12. *Из записок по русской грамматике..* I. Введение. Напечатано в «Филолог. Зап.» 1874 г.; были оттиски (стр. 157). II. Составные части предложения и их замены в русском языке. Напечат. в «Записках Харьковск. Университета» 1874 и отдельно (538 стр.). Обе части составили докторскую диссертацию. Второе издание, исправленное и дополненное, вышло в 1889 г.

13. *К истории звуков русского языка.* Первая часть печаталась в «Журн. Мин. Нар. Просв.» 1873—74 г. и «Филолог. Зап.» 1875; вторая, третья и четвертая—в «Русском Филолог. Вестнике», 1880—1886 г.; затем вышли отдельно в 4 частях. В I ч. (243 стр.) «Наречия в древнем русском языке», «Начальное русское о = ст. слав. ІЄ, три статьи о глухих звуках Ъ и Ь, статья о первом полногласии (оро-ра и пр.) и об этимологических различениях коренных гласных в глаголах; во II—IV разные этимологические заметки, одни вполне филологические, другие переходят в этнографические.

14. *Орфографическая заметка о слитном употреблении отрицания* не *с глаголами*, в «Филолог. Зап.», 1875, VI.

15. *Разбор книги П. Житецкого.* «Обзор звуковой истории малорусского наречия», 1876, в «Отчете об Уваровских премиях».

16. *Малорусская народная песня по списку XVI в.* Текст и примечание. В «Филолог. Зап.», 1877; были оттиски (53 стр.).

17. *Слово о полку Игореве.* Текст и примечания в «Филолог. Зап.», 1877—78 и отдельно (158 стр.).

18. *Разбор «Народных песен Галицкой и Угорской Руси» Головацкого,* в 21 отчете об Уваровских премиях в 37 т. «Записок Академии Наук», 1878.

19. *Некролог проф. М. А. Колосова* в «Южн. Крае» за 1881 г., № 28.

20. *Об'яснения малорусских и сродных народных песен.* Печатались в «Русск. Филолог. Вестнике» 1882—1887 г. В отдельности составили два толстых тома: I т. (1883 г.) веснянки (268 стр.); во II т. (1887) колядки (535 стр.).

21. *Значение множественного числа в русском языке,* в «Филолог. Зап.» и отдельно в 1882 г., 76 стр.

22. *Сочинения Г. Ф. Квитки* в 4 томах (1887—1890), вышли под редакцией А. А. Потебни.

23. *Сочинения П. П. Артемовского-Гулака* в V кн. «Киевской старины», с кратким предисловием и под ред. А. А. Потебни.

24. *Степовы думы та спивы, Ивана Манджуры,* 1889 г., под ред. А. А. Потебни.

25. *Малорусские домашние лечебники XVIII в.* с предисл. А. А. Потебни, «Киевская Старина», 1890, кн. I.

26. *Сказки, пословицы и т. п., запис. И. И. Манджурой* в «Сборн. Харьк. Истор.-филолог. Общества», 1890, под ред. А. А. Потебни.

27. *Этимологические заметки* в «Живой стрине», 1891, стр. 117—129.

28. *Из лекций по теории словесности.* Басня. Поговорка. Пословица. По записям слушательниц и заметкам автора. Ред. В. И. Харциев (168 стр.).

29. *Язык и национальность,* в «Вестн. Европы»,

1895 г., IX, перепечатана в книге № 32, а позже в «Мысль и язык», 1913.

30. *Отзыв о сочинении Соболевского: «Очерки по истории русского языка»*, 1896 г.

31. *Из Записок по русской грамматике*, ч. III. Об изменении значения и заменах существительного, стр. 674, 1899 г.

32. *Из записок по теории словесности*, 656 стр., 1905 г.

33. *Черновые заметки о Л. Н. Толстом и Достоевском*, нап. в «Вопросах теор. и психолог. творч.», т. V, 1913 (стр. 263—292).

СОДЕРЖАНИЕ.

КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

„КОЛОС“

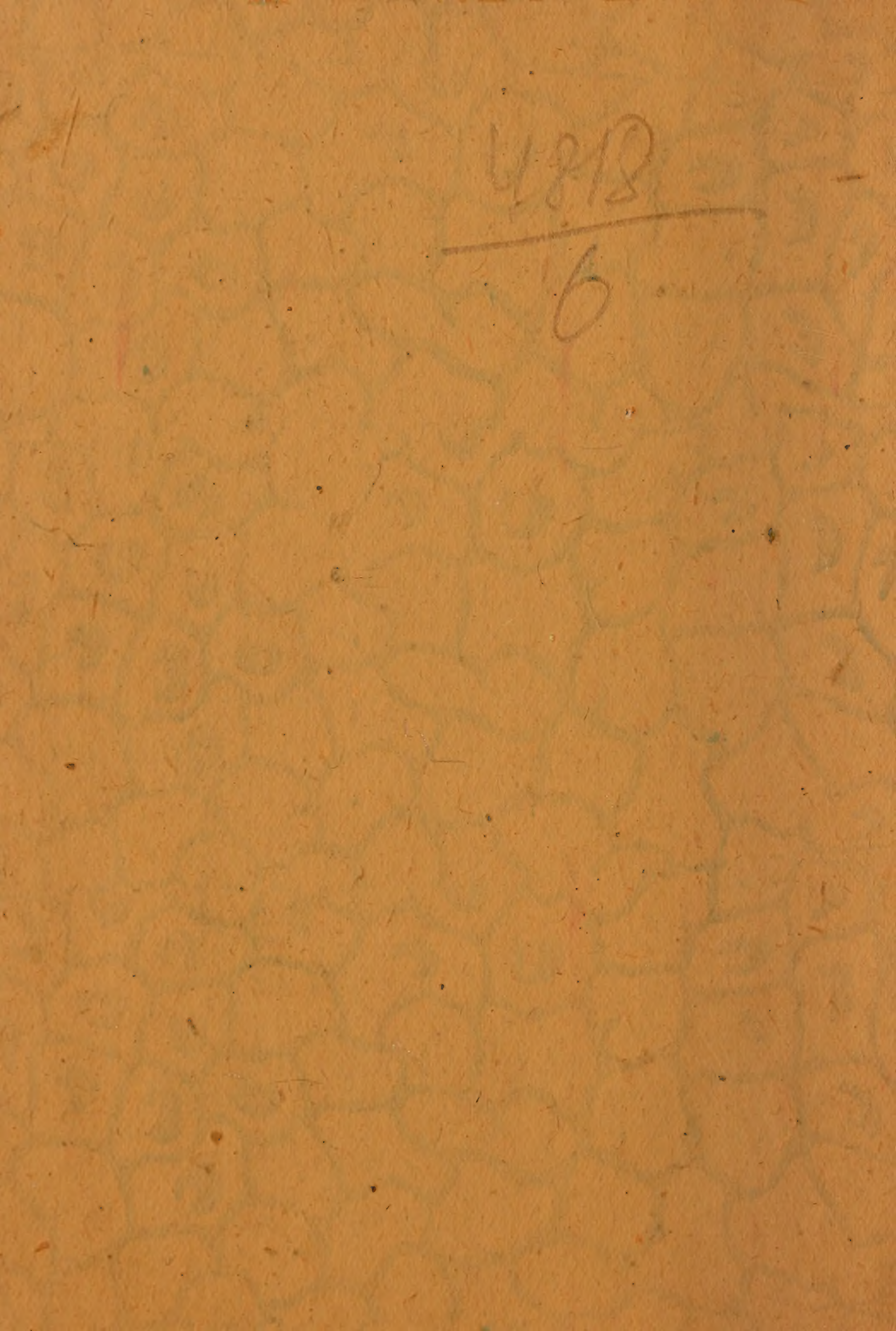
Петроград, пр. Володарского (б. Литейный), 21, кв. 14. Тел. 5-66-23.

Москва, Б. Никитская, 22 Моховая, 20. Тел. 54-89.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА:

ВЫШЛИ И ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ:

1. И. Н. Игнатов—„И. С. Тургенев“, 80 стр. 35 к.
2. Его-же—„П. С. Мочалов“, 64 стр. 30 к.
3. Н. Е. Эфрос—„А. Н. Островский“, 112 стр. 40 к.
4. В. В. Виноградов—„А. А. Шахматов“, 80 стр. 30 к.
5. В. Н. Княжнин—„А. А. Блок“, 136 стр. (распрод.).
6. А. Е. Пресняков—„А. С. Лаппо-Данилевский“, 94 стр. (распрод.).
7. А. И. Огнев—„Л. М. Лопатин“, 64 стр. 30 к.
8. Н. Д. Кондратьев—„М. И. Туган-Барановский“, 128 стр. 60 к.
9. Л. М. Клейнборт—„Н. И. Зибер“, 96 стр. (распрод.).
10. Его-же—„Г. З. Елисеев“, 112 стр. (распродано).
11. Б. М. Энгельгардт—„А. Н. Веселовский“, 214 стр. 1 р.
12. Т. И. Райнов „А. А. Потебня“, 108 стр.


4818
6

PG 34 S5V5

Vinogradov, Viktor Vladimirovich
Aleksei Aleksandrovich Shakhmatov

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY


UTL AT DOWNSVIEW
D RANGE BAY SHLF POS ITEM C
39 15 04 03 08 001 1